

Вильгельм Гауф

Сказки

Александрийский шейх и его невольники

Александрийский шейх Али Бану был странным человеком. Когда он утром шел по городским улицам, обвитый чалмой из прекраснейшего кашемира, в праздничном платье и богатом поясе, стоившем пятьдесят верблюдов, когда он шел медленным, величественным шагом, мрачно наморщив лоб, нахмутив брови, опустив глаза и через каждые пять шагов задумчиво поглаживая свою длинную, черную бороду; когда он шел так в мечеть, чтобы читать верующим поучения о Коране, как этого требовал его сан, люди на улице останавливались, смотрели ему вслед и говорили друг другу: «Вот прекрасный, представительный человек». — «И богатый, богатый человек, — прибавлял, конечно, другой. — Ведь у него дворец в гавани Стамбула! Ведь у него поместья, поля, много тысяч голов скота и много рабов!» — «Да, — говорил третий, — и татарин, который недавно прислан к нему из Стамбула, от самого султана — да благословит его Пророк! — говорил мне, что наш шейх пользуется большим

уважением у рейс-эфенди¹, у капиджи-паши², у всех, даже у самого султана». — «Да, — восклицал четвертый, — его шаги благословенны! Он богатый, знатный человек, но... но... вы знаете, что я подразумеваю!» — «Да, да! — бормотали при этом другие. — Это правда, и у него есть свое горе, мы не хотели бы быть на его месте. Он богатый, знатный человек, но... но...»

У Али Бану был великолепный дом на самом красивом месте в Александрии. Перед домом была широкая терраса, обнесенная мраморной оградой и осененная пальмовыми деревьями. Там он по вечерам часто сидел и курил свой кальян. В это время двенадцать богато одетых рабов в почтительном отдалении ожидали его знака. Один нес его бетель, другой держал его зонтик от солнца, у третьего были сосуды из чистого золота, наполненные дорогим шербетом, четвертый держал опахало из павлиньих перьев, чтобы отгонять мух от господина, другие были певцами и держали лютни и духовые инструменты, чтобы усладить его музыкой, когда он требовал этого, а самый ученый из всех держал несколько свертков, чтобы читать ему.

¹ Рейс-эфенди — министр иностранных дел.

² Капиджи-паша — начальник охраны сераля султана.

Но они напрасно ожидали его знака. Он не требовал ни музыки, ни пения, не хотел слушать изречения или стихотворения мудрых поэтов древних времен, не хотел ни пить шербет, ни жевать бетель. Даже раб с веером из павлиньих перьев напрасно трудился, потому что господин не замечал, если муха жужжа вилась около него.

Прохожие часто останавливались, удивлялись великолепию дома, богато одетым рабам и удобствам, которыми все было обставлено. Но взглянув затем на шейха, когда он так угрюмо и мрачно сидел под пальмами, устремив взор только на синеватые облачка своего кальяна, они качали головой и говорили:

«Право, этот богач — бедный человек. Он, у которого много, беднее того, у которого нет ничего, потому что Пророк не дал ему уменья наслаждаться этим». Так говорили люди, смеялись над ним и шли дальше. Однажды вечером, когда шейх, окруженный всем земным блеском, опять сидел под пальмами перед дверью своего дома и печально и одиноко курил свой кальян, недалеко оттуда стояли несколько молодых людей. Они смотрели на него и смеялись.

— Право, — сказал один, — шейх Али Бану — глупец. Если бы я имел его сокровища, я употребил бы их иначе. Всякий день я проводил бы роскошно и весело. Мои друзья обедали бы у меня

в больших комнатах дома, и ликование и смех наполняли бы эти печальные залы.

— Да, — подхватил другой, — это было бы не так плохо, но много друзей расточат состояние, будь оно даже так велико, как у султана, да благословит его Пророк! А если бы я так сидел вечером под пальмами на этом прекрасном месте, то рабы у меня там пели бы и играли, пришли бы мои танцоры, танцевали бы, прыгали и представляли бы разные чудесные вещи. При этом я очень важно курил бы кальян, приказал бы подать мне дорогой шербет и наслаждался бы всем этим, как повелитель Багдада.

— Шейх, — сказал третий из этих молодых людей, который был писателем, — шейх, говорят, ученый и мудрый человек; и действительно, его поучения о Коране свидетельствуют о начитанности во всех поэтах и писателях мудрости. Но так ли, как это подобает разумному человеку, устроена и его жизнь? Там стоит раб с полной рукой свертков. Я отдал бы свое праздничное платье за то, чтобы прочесть только один из них, потому что это, наверно, редкие вещи. А он! Он сидит, курит и не обращает внимания на книги. Если бы я был шейхом Али Бану, слуга читал бы мне, пока не задохнулся бы или пока не наступила бы ночь. И даже тогда он еще читал бы мне, пока я не заснул бы.

— А! Хорошо вы знаете, как устроить себе прекрасную жизнь, — засмеялся четвертый. — Есть и пить, петь и танцевать, читать изречения и слушать стихи жалких поэтов! Нет, я поступил бы совсем иначе! У шейха великолепнейшие лошади и верблюды и пропасть денег. На его месте я поехал бы, поехал бы на край света, и даже к москвитянам, даже к франкам. Ни одна дорога не была бы для меня слишком длинной, чтобы видеть великолепие света. Так я поступил бы, если бы был вот тем человеком!

— Молодость — прекрасное время и возраст, когда бываешь весел, — сказал старик невзрачного вида, стоявший около них и слышавший их речи. — Но позвольте мне сказать, что молодость также глупа и иногда болтает вздор, не зная, что делает.

— Что вы хотите сказать этим, старик? — удивленно спросили молодые люди. — Вы подразумеваете при этом нас? Какое вам дело, что мы порицаем образ жизни шейха?

— Если кто знает что-либо лучше другого, то пусть он по возможности исправит его ошибку — так хочет Пророк! — возразил старик. — Правда, шейх благословлен сокровищами и имеет все, чего желает сердце, но у него есть причина быть угрюмым и печальным. Вы думаете, он всегда был таким? Нет, я видел его еще пятнадцать лет тому назад, когда он был бодрым и живым, как газель,

жил весело и наслаждался своей жизнью. Тогда у него был сын, радость его дней, прекрасный и образованный, и кто видел его и слышал его разговор, должен был завидовать шейху в этом сокровище, потому что ему было только десять лет, и однако он был уже так учен, как другой едва в восемнадцать.

— И он у него умер? Бедный шейх! — воскликнул молодой писатель.

— Для шейха было бы утешением знать, что его сын отошел в жилища Пророка, где ему жилось бы лучше, чем здесь в Александрии. Но то, что ему пришлось испытать, гораздо хуже. То было время, когда франки, как голодные волки, пришли в нашу страну и стали воевать с нами³. Они одолели Александрию, отсюда пошли все дальше и дальше и начали войну с мамелюками. Шейх был умным человеком и умел хорошо ладить с ними. Но потому ли что они зарились на его сокровища, или потому что он помогал своим единоверным братьям — я не знаю этого точно — словом, однажды они пришли в его дом и стали обвинять его, что он тайно помогает мамелюкам оружием, лошадьми и съестными припасами. Он мог как угодно доказывать свою невиновность — ничто не

³ Речь идет о походе Наполеона I в Египет (1799 г.).

помогло, потому что франки грубый, жестокосердный народ, когда дело идет о вымогательстве денег. Поэтому они взяли заложником в свой лагерь его молодого сына, которого звали Кайрам. Шейх предлагал им за него много денег, но они хотели заставить его предложить еще больше и не отпускали сына. Вдруг от их паши, или кто он был, им пришел приказ садиться на корабли. Никто в Александрии не знал об этом ни слова, и вдруг они очутились в открытом море, а маленького Кайрама, сына Али Бану, они, вероятно, утащили с собой, потому что о нем никогда уже больше ничего не слыхали.

— О, бедный человек! Как жестоко поразил его Аллах! — единодушно воскликнули молодые люди и с состраданием посмотрели на шейха, который печально и одиноко сидел под пальмами, окруженный великолепием.

— Его жена, которую он очень любил, умерла у него от горя по сыну. А сам он купил себе корабль, снарядил его и склонил франкского врача, который живет там внизу, у колодца, ехать с ним во Франкистан разыскивать пропавшего сына. Они сели на корабль, долгое время были в море и наконец приехали в страну тех гяуров ⁴, тех

⁴ Гяур — иноверец.

неверных, которые были в Александрии. Но там, говорят, как раз в это время происходили ужасные события. Они убили своего султана, паши, богатые и бедные отрубали друг другу головы, и в стране не было никакого порядка. Напрасно они в каждом городе искали маленького Кайрама — о нем никто не знал, и франкский доктор посоветовал наконец шейху уехать, потому что иначе, пожалуй, сами они могли лишиться своих голов.

Таким образом, они опять вернулись, и со времени своего приезда шейх стал жить так, как теперь, потому что грустит о своем сыне, и он прав. Не должен ли он думать, когда ест и пьет: «Может быть, теперь мой бедный Кайрам принужден голодать и жаждать?» И когда он одевается в богатые шали и праздничные одежды, как это подобает его сану и достоинству, не должен ли он думать: «Теперь он, пожалуй, не имеет чем прикрыть свою наготу?» И когда он окружен певцами, танцорами и чтецами, своими рабами, разве он не думает тогда: «Может быть, теперь мой бедный сын должен прыгать и играть перед своим франкским повелителем, когда он захочет этого?» А что причиняет ему величайшее горе — это мысль, что маленький Кайрам, находясь так далеко от страны своих отцов и среди неверных, которые насмеются над ним, изменит вере своих отцов, и ему нельзя будет обнять своего сына в райских

садах! Поэтому он и ласков так со своими рабами и дает большие суммы на бедных. Ведь он думает, что Аллах вознаградит за это и тронет сердца франкских господ его сына, чтобы они обращались с ним ласково. И всякий раз, как наступает день, когда у него был отнят сын, он освобождает двенадцать рабов.

— Об этом я тоже уже слышал, — сказал писатель. — Но носятся странные слухи. О его сыне ничего не упоминалось, но, кажется, говорят, что шейх странный человек и совершенно особенно падок до рассказов. Говорят, что он каждый год устраивает между своими рабами состязание, и того, кто расскажет лучше всех, освобождает.

— Не очень полагайтесь на людские толки, — сказал старик. — Это происходит так, как я говорю, а я знаю это верно. Возможно, что в этот тяжелый день он хочет развеселиться и велит рассказывать ему истории, но рабов он освобождает ради своего сына. Однако вечер становится прохладным, и я должен идти дальше. Селям-aleyкум, да будет с вами мир, молодые люди, и в будущем лучше думайте о добром шейхе.

Молодые люди поблагодарили старика за его сообщения, еще раз посмотрели на печального отца и пошли вниз по улице, говоря друг другу: «Не хотел бы я быть шейхом Али Бану».

Вскоре после того как эти молодые люди

говорили со стариком о шейхе Али Бану случилось так, что они во время утренней молитвы шли опять по этой улице. Они вспомнили старика и его рассказ, все пожалели шейха и взглянули на его дом. Но как они изумились, увидав, что там все великолепнейшим образом украшено! С крыши, где гуляли наряженные рабыни, развевались флаги и знамена, зала дома была устлана прекрасными коврами, к ним примыкала шелковая материя, которая была постлана на широких ступенях лестницы, и даже на улице было постлано прекрасное тонкое сукно, которое иной пожелал бы себе на праздничную одежду или на покрывало для ног.

— Э, как же сильно переменялся шейх в немного дней! — сказал молодой писатель. — Он хочет дать пир? Хочет дать работу своим певцам и танцорам? Посмотрите на эти ковры! Есть ли у кого-нибудь в целой Александрии такие прекрасные! И это сукно на простом полу; право, жаль его!

— Знаешь, что я думаю? — сказал другой. — Он, наверно, принимает высокого гостя, ведь такие приготовления делают тогда, когда дом удостаивает своим посещением властитель великих стран или эфенди султана. Кто же сегодня может приехать сюда?

— Посмотри-ка, не идет ли там внизу наш

недавний старик! Э, он ведь все знает и, вероятно, может дать объяснение и относительно этого. Эй! Почтенный! Не подойдете ли вы немного к нам?

Так они крикнули, а старик заметил их знаки и подошел к ним, узнав в них тех молодых людей, с которыми говорил несколько дней тому назад. Они обратили его внимание на приготовления в доме шейха и спросили его, не знает ли он, какого же высокого гостя ожидают.

— Вы, может быть, думаете, — отвечал он, — что Али Бану празднует большой веселый праздник или его дом удостаивает посещением великий человек? Это не так, но сегодня, как вы знаете, двенадцатый день месяца рамадана, а в этот день его сына увели в лагерь франков.

— Клянусь бородой Пророка! — воскликнул один из молодых людей. — Ведь все это имеет вид свадьбы и торжества, а между тем это его знаменитый день печали. Как вы примирите это? Сознайтесь, шейх все-таки немного тронулся рассудком.

— Вы все еще так скоро судите, молодой друг? — спросил улыбаясь старик. — И на этот раз ваша стрела была, конечно, остра и резка, тетива вашего лука была туго натянута, а попали вы далеко не в цель. Знайте, что сегодня шейх ожидает своего сына.

— Так он найден? — воскликнули юноши и

обрадовались.

— Нет, и он, может быть, долго не найдется, но знайте: восемь или десять лет тому назад, когда шейх тоже однажды проводил этот день в печали и скорби, тоже освобождал рабов и кормил и поил много бедных, случилось так, что он велел подать кушанье и питье одному дервишу, который, устав и ослабев, лежал в тени этого дома. Дервиш был святым человеком и опытным в пророчествах и гадании по звездам. Подкрепленный ласковой рукой шейха, он подошел к нему и сказал: «Я знаю причину твоего горя; ведь сегодня двенадцатый день рамадана, и в этот день ты потерял своего сына? Но утешься, этот день печали будет для тебя торжественным днем; знай, когда-нибудь в этот день твой сын возвратится». Так сказал дервиш. Для каждого мусульманина было бы грехом сомневаться в словах такого человека. Хотя это и не облегчило скорби Али, однако он всегда в этот день ожидает возвращения сына и украшает свой дом, залу и лестницы, как будто сын может явиться каждый час.

— Удивительно! — воскликнул писатель. — А я хотел бы сам посмотреть, как все там великолепно приготовлено, как шейх сам грустит среди этой роскоши, а главное — хотел бы послушать, как ему рассказывают его рабы.

— Нет ничего легче этого, — отвечал

старик. — Надсмотрщик рабов этого дома — мой друг с давних лет и в этот день всегда дает мне местечко в зале, где среди толпы слуг и друзей шейха один человек незаметен. Я поговорю с ним, чтобы он пропустил вас; вас ведь только четверо, и это, пожалуй, можно устроить. Приходите в девятом часу на эту площадь, и я дам вам ответ.

Так сказал старик, а молодые люди поблагодарили его и удалились, исполненные желания увидеть, как все это произойдет.

К назначенному часу они пришли на площадь перед домом шейха и встретили там старика, который сказал им, что надсмотрщик рабов позволил ввести их. Старик пошел вперед, но не по богато украшенным лестницам и не через ворота, а через боковую калитку, которую тщательно опять запер. Потом он повел их через несколько коридоров, пока они не пришли в большую залу. Здесь со всех сторон была большая давка; там были богато одетые люди, знатные лица города и друзья шейха, которые пришли утешать его в горе. Были рабы всех видов и всех национальностей. Все имели грустный вид, потому что любили своего господина и огорчались вместе с ним. В конце залы, на богатом диване, сидели знатнейшие друзья Али, и рабы служили им. Около них на полу сидел шейх: печаль о сыне не позволяла ему сидеть на праздничном ковре. Он подпирал рукой голову и,

по-видимому, мало слушал утешения, которые ему нашептывали друзья. Напротив него сидели несколько старых и молодых людей в одежде рабов. Старик объяснил своим молодым друзьям, что это те рабы, которых в этот день Али Бану освобождает. Среди них были и франки, и старик особенно обратил внимание на одного из них, который был выдающейся красоты и еще очень молод. Шейх только за несколько дней до этого купил его за большую сумму у одного торговца рабами из Туниса и все-таки теперь же освобождал его, думая, что чем больше франков он возвратит в их отечество, тем раньше Пророк освободит его сына.

Когда везде подали прохладительное, шейх дал знак надсмотрщику рабов. Надсмотрщик встал, и в зале наступила глубокая тишина. Он подошел к рабам, которые отпускались на свободу, и сказал внятными голосом:

— Вы, которые сегодня будете свободны по милости моего господина Али Бану, шейха Александрии, поступите теперь по обычаю этого дня в его доме и начинайте рассказывать.

Они пошептались между собой. А затем заговорил один старый раб и стал рассказывать...

Карлик Нос

Господин! Совсем не правы люди, думающие, что феи и волшебники существовали только во времена Гаруна аль-Рашида, властелина Багдада, или даже утверждающие, что те повествования о деятельности духов и их повелителей, которые слышишь от рассказчиков на городских рынках, неверны. Феи существуют еще и теперь, и не так давно я сам был свидетелем одного происшествия, в котором явно участвовали духи, как я вам расскажу.

Много лет тому назад в одном значительном городе моего милого отечества, Германии, скромно и честно жил сапожник с женой. Днем он сидел на углу улицы и чинил башмаки и туфли. Делал он, может быть, и новые, если это кто-нибудь доверял ему; но в таком случае он должен был сперва покупать кожу, так как был беден и не имел запасов. Его жена продавала овощи и фрукты, которые разводила в маленьком садике за городом, и многие охотно покупали у нее, потому что она была чисто и опрятно одета и умела красиво разложить и выставить свой товар.

У них был красивый мальчик, приятный лицом, хорошо сложенный и для своего восьмилетнего возраста уже довольно большой. Он обыкновенно сидел около матери на овощном рынке, относил также домой часть плодов тем женщинам или поварам, которые много закупали у

жены сапожника, и редко возвращался с такой прогулки без красивого цветка, монетки или пирога, потому что господам этих поваров было приятно видеть, когда приводили в дом красивого мальчика, и они всегда щедро одаривали его.

Однажды жена сапожника, по обыкновению, опять сидела на рынке; перед ней было несколько корзин с капустой и другими овощами, разные травы и семена, а также, в корзиночке поменьше, ранние груши, яблоки и абрикосы. Маленький Якоб — так звали мальчика — сидел около матери и звонким голосом выкликал товары: «Посмотрите, господа, сюда, какая прекрасная капуста, как душисты эти травы! Ранние груши, сударыни, ранние яблоки и абрикосы, кто купит? Моя матушка отдаст очень дешево!»

Так кричал мальчик.

В это время на рынок пришла одна старуха. Она имела немного оборванный вид, маленькое острое лицо, совершенно сморщенное от старости, красные глаза и острый кривой нос, касавшийся подбородка.

Шла она опираясь на длинную палку, и все-таки нельзя было сказать, как она шла, потому что она хромала, скользила и шаталась, как будто на ногах у нее были колеса и каждую минуту она могла опрокинуться и упасть своим острым носом на мостовую.

Жена сапожника стала внимательно разглядывать эту женщину. Ведь уже шестнадцать лет, как она ежедневно сидела на рынке, и никогда она не замечала этой странной фигуры. Она невольно испугалась, когда старуха заковыляла к ней и остановилась у ее корзины.

— Вы Ханна, торговка овощами? — спросила старуха неприятным, хриплым голосом, беспрестанно трясая головой.

— Да, это я, — отвечала жена сапожника. — Вам что-нибудь угодно?

— Посмотрим, посмотрим! поглядим травки, поглядим травки! есть ли у тебя то, что мне нужно? — сказала старуха.

Она нагнулась к корзинам, влезла обеими темно-коричневыми отвратительными руками в корзину с травами, схватила своими длинными паукообразными пальцами так красиво и изящно разложенные травки, а потом стала подносить их одну за другой к длинному носу и обнюхивать. У жены сапожника почти защемило сердце, когда она увидела, что старуха так обращается с ее редкими травами, но она ничего не решилась сказать, — ведь покупатель имел право рассматривать товар, и, кроме того, она почувствовала перед этой женщиной непонятный страх.

Пересмотрев всю корзину, старуха пробормотала:

— Дрянью, дрянная зелень, из того, что я хочу, нет ничего. Пятьдесят лет тому назад было гораздо лучше. Дрянью, дрянью!

Такие слова рассердили маленького Якоба.

— Слушай, ты, бесстыжая старуха! — сердито закричал он. — Ты сперва лезешь своими гадкими коричневыми пальцами в прекрасные травы и мнешь их, потом держишь их у своего длинного носа, так что их никто больше не купит, кто видел это, а теперь ты еще бранишь наш товар дрянью; а ведь у нас все покупает даже повар герцога!

Старуха покосилась на смелого мальчика, противно засмеялась и сказала хриплым голосом:

— Сынок, сынок! Так тебе нравится мой нос, мой прекрасный, длинный нос? У тебя будет на лице такой же и до самого подбородка!

Говоря так, она скользнула к другой корзине, в которой была разложена капуста. Она брала в руку великолепнейшие белые кочны, сжимала их так, что они трещали, потом опять в беспорядке бросала их в корзину и говорила при этом:

— Дрянной товар, дрянная капуста!

— Только не раскачивай так гадко головой! — испуганно воскликнул малютка. — Ведь твоя шея тонка, как кочерыжка, она легко может переломиться, и твоя голова упадет в корзину. Кто ж тогда захочет купить?

— Тебе не нравятся тонкие шеи, — со смехом

пробормотала старуха. — У тебя совсем не будет шеи! Голова будет торчать в плечах, чтобы не упасть с маленького тельца!

— Не болтайте с маленьким таких ненужных вещей, — сказала наконец жена сапожника, рассерженная долгим перебиранием, рассматриванием и обнюхиванием. — Если хотите купить что-нибудь, то поторопитесь: ведь вы у меня отгоняете всех других покупателей.

— Хорошо, пусть будет по-твоему! — воскликнула старуха с злобным взглядом. — Я куплю у тебя эти шесть кочнов. Но посмотри, я должна опираться на палку и ничего не могу нести. Позволь своему сынку отнести товар ко мне на дом, я дам ему за это хорошую награду.

Малютка не хотел идти с ней и заплакал, боясь безобразной женщины, но мать строго приказала ему идти, считая, конечно, грехом взвалить эту ношу только на старую, слабую женщину. Чуть не плача он сделал, как она приказала, сложил кочны в платок и пошел за старухой по рынку.

Она шла не очень скоро, и понадобилось почти три четверти часа, пока они пришли в самую отдаленную часть города и остановились перед маленьким, ветхим домом. Там она вынула из кармана старый заржавленный крючок, ловко всунула его в маленькую скважину в двери, и вдруг

дверь щелкнув сразу отворилась. Но как поразился маленький Якоб, когда вошел! Внутренность дома была великолепно украшена, потолок и стены были из мрамора, мебель — из прекраснейшего черного дерева и выложена золотом и шлифованными камнями, а пол был из стекла и такой гладкий, что малютка несколько раз поскользнулся и упал. Старуха вынула из кармана серебряный свисток и засвистала на нем мелодию, которая звучно раздалась по дому. По лестнице тотчас же сошли несколько морских свинок. Якобу показалось очень странным, что они шли на двух ногах и вместо башмаков имели на лапах ореховые скорлупки. Они были одеты в человеческие одежды, и даже на головах у них были шляпы по новейшей моде.

— Где мои туфли, негодные твари? — закричала старуха и ударила их палкой, так что они с воем подпрыгнули. — Долго ли мне еще так стоять!

Они быстро запрыгали вверх по лестнице и опять явились с парой скорлуп кокосового ореха, подбитых кожей, которые они ловко надели старухе на ноги.

Теперь у старухи прошла вся хромота и шатание в стороны. Она отбросила палку и стала очень быстро скользить по стеклянному полу, увлекая с собой за руку маленького Якоба. Наконец она остановилась в комнате, уставленной разной

мебелью и похожей на кухню, хотя столы из красного дерева и покрытые богатыми коврами диваны подходили скорее к парадной комнате.

— Сядь, сынок, — очень ласково сказала старуха, прижимая Якоба в угол дивана и ставя перед ним стол так, что он уже не мог выйти оттуда, — сядь, тебе было очень тяжело нести. Человеческие головы не так легки, не так легки!

— Сударыня, что за странности вы говорите? — воскликнул малютка. — Я, правда, устал, но ведь то были кочны, которые я нес. Вы их купили у моей матушки.

— Э, ты знаешь это неверно, — захохотала старуха, открыла крышку корзины и вынула человеческую голову, схватив ее за волосы.

Малютка был вне себя от ужаса, он не мог понять, как все это произошло, и подумал о своей матери. Если кто узнает что-нибудь об этих человеческих головах, подумал он про себя, то, наверно, мою матушку обвинят за это.

— Теперь надо дать и тебе что-нибудь в награду, за то что ты так послушен, — пробормотала старуха, — потерпи только минуточку, я накрошу тебе супцу, который ты будешь помнить всю жизнь.

Так она сказала и опять засвистела. Сперва явилось много морских свинок в человеческих одеждах; на них были повязаны кухонные фартуки,

а за поясом были половники и большие ножи. За ними прискакало множество белок; на них были широкие турецкие шаровары, и они ходили на задних лапах, а на голове имели зеленые бархатные шапочки. Это были, по-видимому, повара, потому что они очень проворно взбирались на стены, доставали сверху сковороды и блюда, яйца и масло, травы и муку и несли все это на плиту. А у плиты беспрестанно сновала старуха в своих туфлях из кокосовых скорлуп, и малютка видел, что она очень старается сварить ему что-то хорошее. Вот огонь затрещал сильнее, вот на сковороде задымилось и закипело, и в комнате распространился приятный запах. Старуха забегала взад и вперед, а белки и морские свинки — за ней. Проходя мимо плиты, она каждый раз совала свой длинный нос в горшок. Наконец кушанье закипело и зашипело, из горшка поднялся пар и на огонь полилась пена. Тогда она сняла горшок, налила из него в серебряную чашку и поставила ее перед маленьким Якобом.

— Вот, сынок, вот, — сказала она, — поешь только этого супчика — у тебя будет все, что тебе так понравилось у меня. Ты будешь и искусным поваром, чтобы тебе быть хоть чем-нибудь, но травки... нет, травки ты никогда не найдешь. Почему ее не было в корзине у твоей матери?

Малютка не вполне понял, что она сказала, и тем внимательнее занялся супом, который ему

очень понравился. Мать готовила ему много вкусных кушаний, но такого хорошего у него еще ничего не было. От супа шел аромат тонких трав и корений; при этом суп был в одно и то же время сладок, кисловат и очень крепок. Между тем как Якоб еще доедал последние капли прекрасного кушанья, морские свинки закурили аравийский ладан, который понесся по комнате голубоватыми облаками. Эти облака делались все гуще и гуще и спускались вниз. Запах ладана подействовал на малютку усыпительно: он мог сколько угодно кричать, что ему нужно вернуться к матери, — очнувшись он опять погружался в дремоту и наконец действительно заснул на диване старухи.

Ему снились странные сны. Ему представлялось, что старуха снимает с него одежду и вместо нее обертывает его беличьей шкуркой. Теперь он мог прыгать и лазить, как белка; он жил вместе с остальными белками и морскими свинками, которые были очень учтивыми, воспитанными особами, и вместе с ними служил у старухи. Сперва им пользовались только для чистки обуви, то есть он должен был намазывать маслом кокосовые орехи, которые хозяйка носила вместо туфель, натирать их и делать блестящими. Так как в отцовском доме его часто приучали к подобным занятиям, то это дело шло у него на лад. Спустя приблизительно год, снилось ему дальше, его стали

употреблять для более тонкой работы: он вместе с еще несколькими белками должен был ловить пылинки и, когда их было достаточно, просеивать их через тончайшее волосяное сито. Дело в том, что хозяйка считала пылинки самым нежным веществом, и так как, не имея уже ни одного зуба, не могла хорошо разжевывать пищу, то велела готовить ей хлеб из пылинок.

Еще через год его перевели в слуги, собиравшие старухе воду для питья. Не подумайте, что она велела вырыть ей для этого бассейн или поставила на дворе кадку, чтобы собирать в нее дождевую воду, — это делалось гораздо хитрее: белки и Якоб должны были черпать ореховыми скорлупками росу с роз, и это было у старухи водой для питья. Так как она пила очень много, то у водоносов была тяжелая работа. Через год его назначили для внутренней службы в доме. У него была обязанность чистить полы, а так как они были из стекла, на котором видно было всякое дыхание, то это была не пустяшная работа. Слуги должны были чистить их щеткой, привязывать к ногам старое сукно и искусно ездить на нем по комнате. На четвертый год его перевели наконец на кухню. Это была почетная должность, которой можно было достигнуть только после долгого испытания. Якоб прослужил в ней начиная с поваренка до первого пирожника и достиг такой необыкновенной

ловкости во всем, что касается кухни, что часто должен был удивляться самому себе. Самым трудным вещам, паштетам из двухсот сортов эссенций, супам из зелени, составленным из всех травок на земле, всему он научился, все умел делать скоро и вкусно.

Так на службе у старухи прошло около семи лет, когда однажды, сняв кокосовые башмаки и взяв в руку корзину и костыль, чтобы уйти, она велела ему ощипать курочку, начинить ее травами и к ее возвращению хорошенько поджарить до коричневатого и желтого цвета. Он стал делать это по всем правилам искусства. Свернул курочке шею, обварил ее в горячей воде, ловко ощипал перья, потом соскоблил с нее кожу, так что она стала гладкой и нежной, и вынул из нее внутренности. Затем он стал собирать травы, которыми должен был начинить курочку. В кладовой для трав он на этот раз заметил в стене шкафчик, дверцы которого были полуоткрыты и которого прежде он никогда не замечал. Он с любопытством подошел ближе, чтобы посмотреть, что он содержит, — и что же, в нем стояло много корзиночек, от которых шел сильный, приятный аромат! Он открыл одну из этих корзиночек и нашел в ней травку совсем особенного вида и цвета. Стебель и листья были сине-зелеными и имели наверху маленький цветок огненно-красного цвета с желтой каемкой. Якоб в

раздумье стал рассматривать этот цветок и понюхал его. Цветок издавал тот же самый крепкий запах, которым некогда пахнул суп, сваренный ему старухой. Но запах был так силен, что Якоб стал чихать, должен был чихать все сильнее и чихая наконец проснулся.

Он лежал на диване старухи и с удивлением смотрел вокруг. «Нет, но как живо можно видеть во сне! — сказал он сам себе. — Ведь теперь я готов бы поклясться, что был презренной белкой, товарищем морских свинок и другой гадости, но при этом стал великим поваром. Как будет смеяться матушка, когда я все расскажу ей! Однако не будет ли она также бранить, что я засыпаю в чужом доме, вместо того чтобы помогать ей на рынке?» С этими мыслями он вскочил, чтобы уйти. Его тело было еще совсем онемевшим от сна, особенно затылок, потому что он не мог хорошо поворачивать голову. Он должен был даже посмеяться над собой, что он такой сонный, потому что, прежде чем осмотрелся, он ежеминутно натыкался носом на шкаф или на стену или ударялся им о косяк двери, если быстро оборачивался. Белки и морские свинки с визгом бегали вокруг него, как будто хотели проводить его; он и действительно пригласил их с собой, когда был на пороге, потому что это были хорошенькие зверьки, но они, в своих ореховых скорлупках, быстро вернулись в дом, и он только вдали слышал

их вой.

Та часть города, куда его завела старуха, была довольно отдаленной, и он едва смог выбраться из узких переулков. При этом там была большая давка, потому что, как ему показалось, должно быть, как раз вблизи показывали карлика. Он везде слышал восклицания: «Эй, посмотрите на уродливого карлика! Откуда явился этот карлик? Эй, что за длинный нос у него, как у него торчит из плеч голова! А руки, бурые, безобразные руки!» В другое время он, пожалуй, тоже побегал бы, потому что очень любил смотреть великанов, карликов или редкие иноземные одежды, но теперь он должен был торопиться прийти к матери.

Когда он пришел на рынок, ему сделалось совсем жутко. Мать еще сидела там и имела в корзине довольно много плодов; следовательно, он не мог долго проспять. Но ему уже издали показалось, что она очень печальна, потому что она не зазывала прохожих купить у нее, а подпирала голову рукой, и когда он подошел ближе, ему показалось также, что она бледнее обыкновенного. Он был в нерешимости, что ему делать; наконец собрался с духом, подкрался к ней сзади, ласково положил свою ладонь на ее руку и сказал:

— Мамочка, что с тобой? Ты сердишься на меня?

Женщина обернулась к нему, но с криком

ужаса отшатнулась.

— Что тебе надо от меня, мерзкий карлик? — воскликнула она. — Прочь, прочь! Я терпеть не могу подобных шуток!

— Матушка, что же это с тобой? — спросил совсем испуганный Якоб. — Тебе, верно, неможется; почему же ты гонишь от себя своего сына?

— Я тебе уже сказала, убирайся прочь! — сердито возразила Ханна. — У меня ты ни гроша не получишь за свое ломанье, мерзкий урод!

«Право, Бог отнял у нее свет разума! — сказал сам себе огорченный малютка. — Что только мне сделать, чтобы привести ее в себя?»

— Милая матушка, будь же благоразумна. Посмотри только на меня хорошенько — ведь я твой сын, твой Якоб!

— Нет, теперь эта шутка становится слишком наглой! — крикнула Ханна своей соседке. — Посмотрите только на этого уродливого карлика! Вот он стоит, наверно отгоняет у меня всех покупателей и смеет издеваться над моим несчастьем. Он говорит мне: «ведь я твой сын, твой Якоб», нахал!

Тогда соседки поднялись и стали так сильно ругаться, как только могли, а это торговки, вы хорошо знаете, умеют.

Они ругали его, что он насмехается над

несчастьем бедной Ханны, у которой семь лет тому назад украли ее красивого мальчика, и грозили все вместе накинуться на него и исцарапать его, если он тотчас не уйдет.

Бедный Якоб не знал, что ему думать о всем этом. Ведь сегодня утром, как ему казалось, он по обыкновению пошел с матерью на рынок, помог ей разложить плоды, потом пришел со старухой в ее дом, поел супа, немного соснул и теперь опять здесь; а однако матушка и соседки говорили о семи годах! И они называли его гадким карликом! Что же теперь произошло с ним?

Когда он увидел, что мать совсем уж не хочет слышать о нем, на глазах у него выступили слезы и он печально пошел вниз по улице к лавке, где его отец целый день чинил башмаки. «Посмотрю, — думал он про себя, — так же ли он не узнает меня; я стану у двери и заговорю с ним». Подойдя к лавке сапожника он стал у двери и заглянул в лавку. Мастер был так усердно занят своей работой, что совсем не видал его, но случайно бросив один раз взгляд на дверь, он уронил на землю башмаки, дратву и шило и с ужасом воскликнул:

— Боже мой, что это, что это!

— Добрый вечер, мастер! — сказал малютка, совсем входя в лавку. — Как ваши дела?

— Плохо, плохо, маленький барин! — отвечал отец, к большому изумлению Якоба; ведь,

по-видимому, он его тоже не узнал. — Дело у меня не клеится. Хотя я один и теперь становлюсь стар, а все-таки подмастерье для меня слишком дорог.

— А разве у вас нет сынка, который мог бы мало-помалу помогать вам в работе? — продолжал спрашивать малютка.

— У меня был сын, его звали Якобом, и теперь он должен бы быть стройным, ловким двадцатилетним молодцом, который славно помогал бы мне. Ах, вот была бы жизнь! Уже когда ему было двенадцать лет, он показывал себя таким способным и ловким и уже многое понимал в ремесле, был также красив и мил; он привлекал бы ко мне заказчиков, так что я скоро уже не занимался бы починкой, а поставлял бы только новое! Но так всегда бывает на свете!

— А где же ваш сын? — дрожащим голосом спросил Якоб у своего отца.

— Это знает только Бог, — отвечал он. — Семь лет тому назад, да, теперь это уже так давно, его с рынка украли у нас.

— Семь лет тому назад? — с ужасом воскликнул Якоб.

— Да, маленький барин, семь лет тому назад! Я еще как сегодня помню, как моя жена пришла домой с воем и криком, что ребенок целый день не возвращался, что она везде спрашивала, искала и не нашла его. Я всегда думал и говорил, что это так и

случится. Якоб, надо сказать, был красивым ребенком. Так вот моя жена гордилась им, любила видеть, когда люди хвалили его, и часто посылала его в богатые дома с овощами и тому подобным. Это было, положим, хорошо: его каждый раз щедро одаривали, но, говорил я, смотри — город велик, много дурных людей живет в нем, смотри у меня за Якобом! И случилось так, как я говорил. Однажды на рынок приходит старая, безобразная женщина, покупает плоды и овощи и наконец покупает столько, что сама не может унести. Моя жена, как сострадательная душа, дает ей с собой мальчика и — до сих пор его уж не видала.

— И этому теперь семь лет, вы говорите?

— Семь лет будет весной. Мы объявляли о нем, мы ходили из дома в дом и спрашивали. Многие знали красивого мальчика, любили его и теперь искали вместе с нами — все напрасно. Никто не знал даже имени женщины, которая покупала овощи, а одна старуха, прожившая уже девяносто лет, сказала, что это была, вероятно, злая фея Травница, которая раз в пятьдесят лет приходит в город закупать себе всякие травы.

Так говорил отец Якоба и при этом сильно стучал по своим башмакам и обоими кулаками далеко вытягивал дратву. А малютке мало-помалу стало ясно то, что произошло с ним: он видел не сон, а семь лет прослужил белкой у злой феи. Его

сердце так наполнилось гневом и скорбью, что чуть не разрывалось. Старуха похитила у него семь лет его молодости, а что у него было взамен этого? Разве что он умел хорошо чистить туфли из кокосовых орехов, умел убирать комнату со стеклянными полами? Научился от морских свинок всем тайнам кухни?

Так он простоял несколько времени, размышляя о своей судьбе, когда наконец отец спросил его:

— Может быть, вам угодно что-нибудь из моей работы, молодой барин? Например, пару новых туфель или, — прибавил он улыбаясь, — может быть, футляр для вашего носа?

— Что вам до моего носа? — сказал Якоб. — Зачем же мне нужен для него футляр?

— Ну, — возразил сапожник, — у всякого свой вкус, но должен сказать вам, что если бы у меня был этот ужасный нос, я заказал бы себе для него футляр из розовой, лаковой кожи. Смотрите, вот у меня под рукой прекрасный кусочек; конечно, для этого потребовалось бы по крайней мере локоть. Но как хорошо он предохранял бы вас, маленький барин! Я вполне уверен, что так вы натыкаетесь на каждый косяк, на каждую повозку, от которой хотите посторониться.

Малютка стоял, онемев от ужаса. Он стал ощупывать свой нос: нос был толст и длинной,

вероятно, в две ладони! Таким образом, старуха изменила и его наружность, — поэтому-то мать и не узнала его, поэтому его и называли безобразным карликом!

— Мастер! — сказал он сапожнику чуть не плача. — Нет ли у вас под рукой зеркала, в которое я мог бы посмотреть на себя?

— Молодой барин, — серьезно отвечал отец, — вы получили совсем не такую наружность, которая могла бы сделать вас тщеславным, и у вас нет причины ежеминутно глядеть в зеркало. Отвыкайте от этого, это, особенно у вас, — смешная привычка.

— Ах, так дайте мне все-таки посмотреть в зеркало, — воскликнул малютка, — уверяю, это не из тщеславия!

— Оставьте меня в покое, у меня нет зеркала! У моей жены есть зеркальце, но я не знаю, где она его спрятала. А если вам непременно нужно посмотреть в зеркало, то через улицу живет цирюльник Урбан, у него есть зеркало вдвое больше вашей головы. Посмотрите там в него, а пока прощайте!

С этими словами отец тихонько выпроводил его из лавки, запер за ним дверь и опять сел за работу.

А малютка, очень огорченный, пошел через улицу к цирюльнику Урбану, которого хорошо знал

еще по прежнему времени.

— Здравствуйте, Урбан! — сказал он ему. — Я пришел просить вас об одном одолжении. Будьте так добры и позвольте мне немного посмотреть в ваше зеркало.

— С удовольствием, вон оно стоит! — со смехом воскликнул цирюльник, а его посетители, которым он должен был брить бороды, тоже громко засмеялись. — Вы красивый малый, стройный и тонкий, шейка как у лебедя, ручки как у королевы, и вздернутый носик, красивее которого нельзя видеть. Правда, поэтому вы немного тщеславны, но все-таки посмотрите на себя; пусть обо мне не говорят, что я из зависти не дал вам смотреть в мое зеркало.

Так сказал цирюльник, и цирюльню огласил смех, похожий на ржание. А малютка между тем встал перед зеркалом и посмотрел на себя. На глазах у него выступили слезы.

«Да, таким ты, конечно, не могла узнать своего Якоба, милая матушка, — сказал он сам себе. — Он имел не такой вид в те счастливые дни, когда ты любила гордиться им перед людьми!»

Его глаза сделались маленькими, как у свиньи, нос стал огромным и свешивался ниже рта и подбородка, шея была как будто совершенно отнята, потому что голова сидела глубоко в плечах, и только с очень сильной болью он мог

поворачивать ее направо и налево. Его тело было еще таким же, как семь лет тому назад, когда ему было двенадцать лет, но тогда как другие с двенадцатого до двадцатого года растут в высоту, он рос в ширину, спина и грудь сильно выгнулись и имели вид маленького, но очень туго набитого мешка. Это толстое туловище сидело на маленьких, слабых ножках, которые, казалось, выросли не для этой тяжести. Зато тем больше были руки, висевшие на его туловище. Они были величиной, как у вполне взрослого человека, кисти рук были грубы и буро-желтого цвета, пальцы длинные и паукообразны, и когда он совершенно вытягивал их, то мог не нагибаясь доставать ими до земли.

Такой вид имел маленький Якоб — он превратился в уродливого карлика!

Теперь он вспомнил и то утро, когда старуха подошла к корзинам его матери. Все, что он тогда ругал в ней, длинный нос, безобразные пальцы, все она приворожила ему, кроме только длинной дрожащей шеи.

— Ну, принц, теперь вы вдоволь нагляделись? — сказал цирюльник, подходя к нему и со смехом осматривая его. — Право, если бы захотелось увидеть во сне что-нибудь подобное, такого смешного никому не могло бы представиться. Однако я хочу сделать вам одно предложение, маленький человек. Хотя мою

цирюльню хорошо посещают, но все же с недавнего времени не так, как я желаю. Это происходит потому, что мой сосед, цирюльник Шаум, где-то разыскал великана, который у него приманивает в дом посетителей. Ну, быть великаном совсем не штука, а таким человечком, как вы, — да, это уж другое дело! Поступайте ко мне на службу, маленький человек. У вас будет квартира, еда, питье, одежда, у вас будет все. За это вы будете становиться утром у моих дверей и приглашать публику заходить, вы будете взбивать мыльную пену, подавать посетителям полотенце, и будьте уверены, что при этом нам обоим будет хорошо! У меня будет больше посетителей, чем у того цирюльника с великаном, и каждый охотно даст вам еще на чай.

Малютка внутренне был возмущен предложением служить для цирюльника приманкой. Но разве он не должен был терпеливо перенести это оскорбление? Поэтому он совершенно спокойно сказал цирюльнику, что для такой службы у него нет времени, и пошел дальше.

Хотя злая старуха изуродовала его наружность, однако она ничего не могла сделать с его рассудком.

Это он хорошо сознавал, ведь он думал и чувствовал уже не так, как семь лет тому назад, нет, ему казалось, что в этот промежуток времени он

стал умнее, рассудительнее. Он горевал не о своей утраченной красоте, не об этой уродливой наружности, а только о том, что его, как собаку, гонят от отцовской двери. Поэтому он решил сделать у матери еще одну, последнюю попытку.

Он пошел к ней на рынок и попросил ее спокойно выслушать его. Он напомнил ей о том дне, когда он пошел со старухой, напомнил ей о всех отдельных случаях своего детства, потом рассказал ей, как он семь лет прослужил у феи белкой и как она превратила его, потому что тогда он бранил ее. Жена сапожника не знала, что ей думать. Все, что он рассказывал ей о своем детстве, было верно, но когда он стал говорить о том, что в течение семи лет был белкой, она сказала:

— Это невозможно и фей не существует!

Когда же она взглянула на него, то почувствовала отвращение к уродливому карлику и не поверила, чтобы это мог быть ее сын. Наконец она сочла самым лучшим поговорить об этом с мужем. Поэтому она собрала свои корзины и велела ему идти с ней. Вот они пришли к лавке сапожника.

— Посмотри-ка, — сказала она ему, — вот этот человек уверяет, что он наш пропавший Якоб. Он рассказал мне все: как его семь лет тому назад украли у нас и как его заколдовала фея.

— Как? — с гневом прервал ее сапожник. — Это он рассказал тебе? Постой, негодяй! Только час

тому назад я все рассказал ему, а теперь он идет дурачить тебя этим! Ты заколдован, сынок? Постой же, я тебя опять расколдую!

При этом он взял пучок только что нарезанных им ремней, подскочил к малютке и ударил его по горбатой спине и по длинным рукам, так что малютка закричал от боли и с плачем убежал.

В том городе, как везде, было мало сострадательных душ, которые помогли бы несчастному, имевшему притом что-то смешное в наружности. Поэтому случилось так, что несчастный карлик целый день оставался без пищи и питья и вечером должен был выбрать для ночлега церковную паперть, как ни холодна и жестка она была.

Когда же на другое утро его разбудили первые лучи солнца, он стал серьезно раздумывать о том, как ему влачить свою жизнь, потому что отец и мать прогнали его. Он чувствовал себя слишком гордым, чтобы служить вывеской цирюльника, он не хотел наняться к фокуснику и показывать себя за деньги. Что же он должен был делать? Тогда ему вдруг пришло в голову, что будучи белкой он сделал большие успехи в поварском искусстве. Ему не без основания казалось, что он может надеяться поспорить со многими поварами, и он решил воспользоваться своим искусством.

Поэтому, как только на улицах стало оживленнее и утро вполне наступило, он вошел сперва в церковь и помолился, а затем отправился в путь. Герцог, государь той страны, был известным кутилой и лакомкой, любившим хороший стол и разыскивавшим своих поваров во всех частях света. Малютка отправился к его дворцу. Когда он подошел к наружным воротам, привратники спросили, что ему нужно, и стали насмехаться над ним. Он же спросил главного смотрителя кухни. Они засмеялись и повели его через передние дворы; везде, куда он приходил, слуги останавливались, смотрели ему вслед, громко смеялись и присоединялись, так что мало-помалу вверх по лестнице дворца двигался уже огромный хвост всевозможных слуг. Конюхи побросали свои скребницы, гонцы побежали, как только могли, полотеры забыли выколачивать ковры; все толпились и стремились, была такая давка, как будто у ворот был враг, и крик: «Карлик, карлик! Видели вы карлика?» наполнял воздух.

Вот в дверях показался смотритель дома с сердитым лицом и огромной плетью в руке.

— Ради самого неба, собаки, что вы поднимаете такой шум! Не знаете вы, что государь еще спит?

При этом он взмахнул бичом и довольно грубо опустил его на спины некоторых конюхов и

привратников.

— Ах, господин! — воскликнули они. — Разве вы не видите! Вот мы ведем карлика, карлика, какого вы еще не видали!

Увидав малютку, смотритель дворца с трудом удержался от громкого смеха, боясь повредить им своему достоинству. Поэтому он прогнал остальных плетью, отвел малютку в дом и спросил, что ему нужно. Услыхав, что карлик хочет к смотрителю кухни, он возразил:

— Ты ошибаешься, сынок! Ты хочешь ко мне, смотрителю дома. Ты хочешь быть у герцога лейб-карликом, не так ли?

— Нет, господин! — отвечал карлик. — Я искусный повар и опытен в разных редких кушаньях. Отведите меня, пожалуйста, к главному смотрителю кухни; может быть, ему понадобится мое искусство.

— У всякого свое желание, маленький человечек! Впрочем, ты все-таки нерассудительный малый. В кухню! Как у лейб-карлика у тебя не было бы работы, а еды и питья — сколько душе угодно, а еще красивые одежды. Однако посмотрим, едва ли твое поварское искусство ушло так далеко, как нужно главному повару государя, а для поваренка ты слишком хорош.

С этими словами смотритель дворца взял его за руку и повел в комнаты главного смотрителя

кухни.

— Милостивый государь! — сказал там карлик и поклонился так низко, что коснулся носом ковра на полу. — Не нужен ли вам искусный повар?

Главный смотритель кухни оглядел его с головы до ног, потом разразился громким смехом и воскликнул:

— Как? Ты повар? Ты думаешь, наши плиты так низки, что ты можешь заглянуть хоть на одну, если встанешь на цыпочки и хорошенько вытянешь голову из плеч? О, милый крошка! Кто послал тебя ко мне, чтобы наняться в повара, тот одурачил тебя!

Так сказал главный смотритель кухни и громко засмеялся, а вместе с ним засмеялся смотритель дворца и все слуги, бывшие в комнате.

Но карлик не смутился.

— Что стоит одно или два яйца, немного сиропа и вина, муки и приправ в доме, где этого вдоволь? — сказал он. — Задайте мне приготовить какое-нибудь лакомое кушанье, принесите, что нужно для него, и оно на ваших глазах быстро будет готово, а вы должны будете сказать: да, он повар по всем правилам искусства!

Такие и подобные речи повел малютка, и странно было смотреть, как сверкали при этом его маленькие глазки, как извивался туда и сюда его длинный нос, а его тонкие паукообразные пальцы вторили его речи.

— Хорошо! — воскликнул смотритель кухни и взял смотрителя дворца под руку. — Хорошо, шутки ради пусть будет так. Пойдемте на кухню!

Они прошли несколько зал и коридоров и наконец пришли на кухню. Это было большое, просторное здание, великолепно устроенное. На двадцати плитах постоянно горел огонь, чистая вода, служившая в то же время для рыбного садка, протекала посреди них. В шкафах из мрамора и драгоценного дерева были расставлены припасы, которые всегда нужно иметь под рукой, а направо и налево было десять зал, и в них было сложено все, что можно найти дорогого и лакомого для гастронома во всех странах Франкистана и даже на Востоке. Разная кухонная прислуга суетилась, стучала и гремела котлами и сковородами, вилками и половниками, но когда в кухню вошел главный смотритель, все они неподвижно остановились, и слышен был только треск огня и журчание ручейка.

— Что приказал государь сегодня к завтраку? — спросил он первого старого повара, приготавливавшего завтраки.

— Господин, он изволил приказать датский суп и красные гамбургские клецки!

— Хорошо, — сказал смотритель кухни дальше. — Ты слышал, что хочет государь кушать? Возьмешься ли ты приготовить эти трудные кушанья? Клецок ты ни в каком случае не

сделаешь, это секрет.

— Нет ничего легче этого, — отвечал ко всеобщему изумлению карлик, который белкой часто делал эти кушанья. — Нет ничего легче! Дайте мне для супа таких-то и таких-то трав, тех и этих пряностей, жира дикой свиньи, кореньев и яиц; а для клецок, — сказал он тише, так что это могли слышать только смотритель кухни и повар, приготавливавший завтраки, — для клецок мне нужно мясо четырех сортов, немного вина, утиного сала, имбиря и одной травки, которая называется «радостью для желудка».

— Ба! Клянусь святым Бенедиктом! У какого волшебника ты учился? — с изумлением воскликнул повар. — Он сказал все до последней капли, а о такой травке мы даже и не знали; да, она должна сделать клецки еще вкуснее. О, ты — чудо-повар!

— Этого я и не подумал бы, — сказал главный смотритель кухни, — однако дадим ему сделать пробу. Дайте ему вещи и посуду, которые он просит, и пусть он приготовит завтрак.

Сделали так, как он велел, и все приготовили на плите; но тогда оказалось, что карлик едва мог достать до плиты носом. Поэтому составили несколько стульев, положили на них мраморную доску и пригласили маленького удивительного человека начинать свой фокус. Повара, поварята,

слуги и разный народ обступили его большим кругом, смотрели и изумлялись, как у него в руках все шло проворно и ловко, как он приготавливал все так чисто и изящно. Окончив приготовления, он велел поставить оба блюда на огонь и варить до тех пор, пока он не крикнет. Потом он стал считать «раз, два, три» и так дальше, а как только сосчитал до пятисот, воскликнул: «Стой!» Горшки были сняты, и малютка пригласил зрителя кухни попробовать.

Главный повар велел поваренку подать ему золотую ложку, ополоснул ее в ручье и передал главному зрителю кухни; последний с торжественным видом подошел к плите, взял кушанье, попробовал, зажмурил глаза, щелкнул от удовольствия языком и затем сказал:

— Превосходно, клянусь жизнью герцога, превосходно! Не хотите ли вы тоже отведать ложечку, зритель дворца?

Зритель дворца поклонился, взял ложку, попробовал и был вне себя от удовольствия и радости.

— Ваше искусство почтенно, любезный приготовитель завтраков, вы опытный повар, но так превосходно вы не могли сделать ни суп, ни гамбургские клецки!

Тогда попробовал и повар, затем почтительно потряс карлику руку и сказал:

— Малыш! Ты мастер своего искусства! Да, травка «радость для желудка» придает всему совсем особенную прелесть.

В эту минуту в кухню пришел камердинер герцога и объявил, что государь спрашивает завтрак. Тогда кушанья были положены на серебряные подносы и посланы герцогу, а главный смотритель кухни взял малютку в свою комнату и стал беседовать с ним. Но едва они пробыли там половину того времени, в которое говорят «Отче наш» (это молитва франков, господин, и она короче половины молитвы правоверных), как от герцога уже явился посланный и позвал главного смотрителя кухни к государю. Смотритель быстро оделся в свое праздничное платье и последовал за посланным.

Герцог имел очень веселый вид. Он съел все, что было на серебряных подносах, и только что утер себе бороду, как к нему вошел главный смотритель кухни.

— Послушай, смотритель кухни, — сказал герцог, — я до сих пор всегда был очень доволен твоими поварами, но скажи мне — кто сегодня приготавливал мой завтрак! С тех пор как я сижу на троне своих отцов, он никогда не был таким превосходным! Говори, как звать этого повара, чтобы нам послать ему в подарок несколько червонцев.

— Государь! Это удивительная история, — отвечал главный смотритель кухни и подробно рассказал, как сегодня утром к нему привели какого-то карлика, который непременно хотел сделаться поваром, и как все это произошло.

Герцог очень удивился, велел позвать к нему карлика и стал расспрашивать его, кто он и откуда. Бедный Якоб не мог, конечно, сказать, что был заколдован и раньше служил белкой. Однако он не утаил правды, рассказав, что теперь у него нет отца и матери и что стряпать он научился у одной старой женщины. Герцог не стал спрашивать дальше; его забавляла странная наружность нового повара.

— Если останешься у меня, — сказал он, — то я велю ежегодно давать тебе пятьдесят червонцев, праздничное платье и еще, сверх того, две пары шаровар. А за это ты должен ежедневно сам готовить мой завтрак, должен показывать, как нужно готовить обед, и вообще заведовать моей кухней. Так как каждый в моем дворце получает от меня особое имя, то ты будешь называться Носом и будешь облечен званием помощника смотрителя кухни.

Карлик Нос упал ниц перед могущественным герцогом земли франков, целовал ему ноги и обещал верно служить.

Таким образом, теперь малютка на первое время был пристроен, и он сделал честь своему

месту. Ведь можно сказать, что герцог был совсем другим человеком, пока в его доме жил карлик Нос. Прежде он часто изволил бросать в голову поварам блюда или подносы, которые ему подавали; мало того, однажды в гневе он так сильно бросил в лоб самому главному смотрителю кухни жареную телячью ногу, которая была недостаточно мягка, что тот упал и должен был три дня пролежать в постели. Хотя несколькими горстями червонцев герцог исправил сделанное в гневе, но все-таки повар никогда не приходил к нему с кушаньями без страха и трепета. С тех пор как в доме был карлик, все казалось превращенным, как по волшебству. Теперь государь вместо трех раз кушал пять раз в день, чтобы вполне насладиться искусством своего самого маленького слуги, и все-таки никогда не показывал гневного выражения. Нет, он все находил новым, превосходным, был снисходителен и любезен и толстел со дня на день.

Среди обеда он часто приказывал позвать смотрителя кухни и карлика Носа, сажал к себе одного направо, другого налево и своими собственными пальцами совал им в рот несколько кусков превосходных кушаний — милость, которую оба они умели хорошо ценить.

Карлик был чудом города. У главного смотрителя кухни неотступно просили позволения посмотреть, как карлик готовит, и некоторые из

знатнейших лиц добились у герцога того, что их слуги могли пользоваться у карлика на кухне уроками, что приносило ему немало денег, так как каждый ежедневно платил полчервонца. А чтобы пользоваться хорошим расположением у остальных поваров и не возбуждать их зависти к себе, Нос предоставлял им деньги, которые господа должны были платить за обучение своих поваров.

Так, в наружном довольстве и почете Нос прожил почти два года, и его огорчала только мысль о родителях. Так он жил, не испытывая ничего замечательного, пока не произошел следующий случай. Карлик Нос был особенно искусен и счастлив в своих покупках. Поэтому всякий раз, когда ему позволяло время, он всегда сам ходил на рынок закупать дичь и овощи. Однажды утром он пошел на гусиный рынок и стал искать тяжелых, жирных гусей, каких любил государь. Осматривая товар, он уже несколько раз прошел взад и вперед. Его фигура, совсем не возбуждая здесь смеха и шуток, внушала уважение. Ведь его, как знаменитого придворного повара герцога, признали, и каждая торговка гусями чувствовала себя счастливой, когда он поворачивал к ней свой нос.

Вот он увидел совсем в конце ряда, в углу, сидевшую женщину, которая тоже продавала гусей, но не расхваливала своего товара, как остальные, и

не зазывала покупателей. Он подошел к ней и стал мерить и взвешивать ее гусей. Они были такими, каких он желал, и он купил трех гусей вместе с клеткой, взвалил их на свои широкие плечи и пошел в обратный путь. Ему показалось странным, что только двое из этих гусей гоготали и кричали, как обыкновенно делают настоящие гуси, а третья гусыня сидела совсем тихо, углубившись в себя, и стонала, как человек. «Она больна, — сказал Нос про себя, — мне надо поспешить заколоть ее и приготовить». Но гусыня отвечала совершенно ясно и громко:

Станешь колоть ты
меня, — укушу я тебя.

Если шею мне
свернешь, — рано в
могилу сойдешь.

Совершенно перепуганный карлик Нос поставил свою клетку на землю, а гусыня посмотрела на него прекрасными, умными глазами и вздохнула.

— Тьфу, пропасть! — воскликнул Нос. — Ты умеешь говорить, гусыня? Этого я не предполагал. Ну, только не бойся! Мы умеем жить и не посягнем на такую редкую птицу. Но я готов держать пари, что ты не всегда была в этих перьях. Ведь я сам был

когда-то мерзкой белкой.

— Ты прав, — отвечала гусыня, — говоря, что я родилась не в этой позорной оболочке. Ах, у моей колыбели мне не пели, что Мими, дочери великого Веттербока, суждено быть убитой на кухне герцога!

— Будь же спокойна, дорогая Мими, — утешал ее карлик. — Клянусь своей честью и честью помощника смотрителя кухни его светлости, что никто не свернет тебе шеи. Я отведу тебе помещение в своих собственных комнатах, ты будешь иметь достаточно корма, а свое свободное время я буду посвящать беседе с тобой. Остальной кухонной прислуге я скажу, что откармливаю гуся для герцога разными особенными травами, а как только представится удобный случай — выпущу тебя на свободу.

Гусыня со слезами поблагодарила его, а карлик сделал так, как обещал. Он заколол двух других гусей, а для Мими устроил особое помещение, под предлогом приготовить ее для герцога совершенно особенно. Он даже давал ей не обыкновенный гусиный корм, а доставлял печенье и сладкие блюда. Всякий раз как у него было свободное время, он ходил беседовать с ней и утешать ее. Они также рассказали друг другу истории своей жизни, и таким образом Нос узнал, что гусыня — дочь волшебника Веттербока, живущего на острове Готланде. Он поссорился с

одной старой феей, которая своим коварством и хитростью победила его, из мести превратила Мими в гусыню и унесла ее сюда. Когда карлик Нос точно так же рассказал Мими свою историю, она проговорила:

— Я опытна в этих вещах. Мой отец дал мне и моим сестрам некоторое наставление, насколько именно он мог сообщить об этом. История ссоры у корзины с травами, твое внезапное превращение, когда ты понюхал той травки, также некоторые слова старухи, которые ты сказал мне, убеждают меня, что ты заколдован травами, то есть если ты найдешь траву, которую фея задумала при твоём превращении, то можешь быть освобожден.

Для малютки это было ничтожным утешением; в самом деле, где ему было найти эту траву? Однако он все же поблагодарил Мими и возымел некоторую надежду.

В это время герцога посетил его друг, соседний государь. Поэтому герцог призвал к себе своего карлика Носа и сказал ему:

— Теперь настало время, когда ты должен показать, верно ли ты служишь мне и мастер ли ты своего искусства. Этот государь, посещающий меня, кушает, как известно, лучше всех, кроме меня. Он большой знаток тонкой кухни и умный человек. Постарайся теперь ежедневно так готовить мой обед, чтобы он все более

приходил в изумление. При этом ты, под страхом моей немилости, ни одно кушанье не должен подавать два раза, пока он здесь. Для этого ты можешь брать себе у моего казначея все, что только тебе нужно. И если тебе надо жарить в сале золото и брильянты — делай это. Я хочу скорее сделаться бедняком, чем краснеть перед ним.

Так говорил герцог. А карлик, учтиво кланяясь, сказал:

— Да будет так, как ты говоришь, государь! Если будет угодно Богу, я все сделаю так, что этому царю гастрономов понравится.

Вот маленький повар стал изощрять все свое искусство. Он не щадил сокровищ своего государя, а еще меньше самого себя. Действительно, целый день его видели окутанным облаком дыма и огня, и его голос постоянно раздавался под сводами кухни, потому что он, как повелитель, отдавал приказания поварятам и низшим поварам. Господин! Я мог бы поступить, как погонщики верблюдов из Алеппо, которые в своих повестях, рассказываемых путешественникам, заставляют героев роскошно кушать. Они в продолжение целого часа называют все блюда, которые подавались, и этим возбуждают в своих слушателях большой аппетит и еще больший голод, так что те невольно открывают запасы, обедают и щедро одевают погонщиков верблюдов — но я не таков.

Иностранный государь пробыл у герцога уже две недели и жил роскошно и весело. Они кушали не меньше пяти раз в день, и герцог был доволен искусством карлика, потому что видел довольство на челе своего гостя. А на пятнадцатый день случилось так, что герцог велел позвать карлика к столу, представил его государю, своему гостю, и спросил последнего, как он доволен карликом.

— Ты чудесный повар, — отвечал иностранный государь, — и знаешь, что значит прилично поесть. Во все время, пока я здесь, ты не повторил ни одного кушанья и все приготавливал превосходно. Но скажи же мне, почему ты так долго не подаешь царя кушаний, паштет Сюзерен.

Карлик очень испугался, потому что никогда не слышал об этом царе паштетов, однако собрался с духом и отвечал:

— Государь, я надеялся, что твой лик еще долго будет сиять в этой резиденции, поэтому и ждал с этим кушаньем. Ведь чем же повару и приветствовать тебя в день отъезда, как не царем паштетов!

— Вот как? — смеясь возразил герцог. — А меня ты хотел, вероятно, заставить ждать до моей смерти, чтобы тогда приветствовать меня? Ведь и мне ты еще никогда не подавал этого паштета. Однако подумай о другом прощальном приветствии, потому что завтра ты должен

поставить на стол этот паштет.

— Да будет так, как ты говоришь, государь! — отвечал карлик и пошел.

Но он пошел невеселым, потому что наступил день его посрамления и несчастья. Он не знал, как ему сделать паштет. Поэтому он пошел к себе в комнату и стал плакать о своей судьбе. Тогда к нему подошла гусыня Мими, которая могла расхаживать у него в комнате, и спросила о причине его горя.

— Уйми свои слезы, — сказала Мими, услышав о Сюзерене, — это блюдо часто подавалось на стол у моего отца, и я приблизительно знаю, что для него нужно. Ты возьмешь того-то и того-то, столько-то и столько-то, и если даже это не вполне все, что, собственно, нужно для паштета, то у государей не будет такого тонкого вкуса.

Так сказала Мими. А карлик от радости подпрыгнул, благословил тот день, когда купил эту гусыню, и собрался готовить царя паштетов. Сперва он сделал небольшую пробу, и что же — паштет имел превосходный вкус! Главный смотритель кухни, которому карлик дал попробовать его, снова стал восхвалять его обширное искусство.

На другой день он поставил паштет в большей форме и, украсив его венками из цветов, послал его на стол теплым, прямо из печки, а сам надел свое

лучшее праздничное платье и пошел в столовую. Когда он вошел, главный кравчий был занят как раз тем, что разрезывал паштет и на серебряной лопаточке подавал его герцогу и гостю. Герцог положил в рот порядочный кусок, поднял глаза к потолку и, проглотив его, сказал:

— Ах! ах! ах! недаром его называют царем паштетов. Но мой карлик тоже царь всех поваров, не так ли, милый друг?

Гость взял себе несколько маленьких кусков, попробовал, внимательно рассмотрел их и при этом язвительно и таинственно улыбнулся.

— Приготовлено очень хорошо, — отвечал он, отодвигая тарелку, — но это все-таки не вполне Сюзерен, что я, конечно, и предполагал.

Тогда герцог от гнева нахмурил лоб и покраснел от стыда.

— Собака карлик! — воскликнул он. — Как ты смеешь поступать так со своим государем? Или в наказание за скверную стряпню я должен отрубить тебе твою большую голову?

— Ах, государь! Ради самого неба, я ведь приготовил это блюдо по всем правилам искусства; в нем есть, наверно, все! — сказал карлик и задрожал.

— Это ложь, негодяй! — возразил герцог и ногой оттолкнул его от себя. — Иначе мой гость не сказал бы, что чего-то не хватает. Я велю разрубить

тебя самого и зажарить в паштет!

— Сжальтесь! — воскликнул малютка, подполз на коленях к гостю и обнял его ноги. — Скажите, чего не хватает в этом кушанье, что оно вам не по вкусу! Не дайте умереть человеку из-за куска мяса и горсти муки!

— Это тебе мало поможет, милый мой Нос, — со смехом отвечал иностранец, — я уже вчера подумал, что ты не сможешь приготовить это кушанье так, как мой повар. Знай, что не хватает травки, которая в этой стране совсем неизвестна, травки «кушай на здоровье». Без нее паштет остается без приправы, и твой государь никогда не будет есть его так, как я.

Тогда повелитель Франкистана пришел в неистовое бешенство.

— А все-таки я буду есть его! — воскликнул он сверкая глазами. — Клянусь своей царской честью, или я завтра покажу вам паштет, какой вы желаете, или голову этого молодчика, воткнутую на воротах моего дворца! Ступай, собака, я еще раз даю тебе двадцать четыре часа времени!

Так кричал герцог, а карлик плача опять пошел к себе в комнатку и стал жаловаться гусыне на свою судьбу и на то, что ему придется умереть, так как он никогда не слыхал об этой траве.

— Если только это, — сказала гусыня, — то я, пожалуй, могу помочь тебе; ведь мой отец научил

меня узнавать все травы. Правда, в другое время ты, может быть, не избежал бы смерти, но, к счастью, как раз новолуние, а в это время та травка цветет. Но скажи, есть ли вблизи дворца старые каштановые деревья?

— Да! — с облегченным сердцем отвечал Нос. — У озера, в двухстах шагах от дома, стоит целая группа, но зачем они?

— Эта травка цветет только в тени старых каштанов, — сказала Мими. — Поэтому не станем терять времени и будем искать то, что тебе нужно. Возьми меня к себе на руки, а снаружи спусти на землю; я тебе помогу искать.

Он сделал так, как она сказала, и пошел с ней к воротам дворца. Но там караульный протянул свое оружие и сказал:

— Добрый мой Нос, твое дело плохо — тебе нельзя выходить из дому. Я имею на это строгаишии приказ.

— Но в сад я ведь могу, наверно, пойти? — возразил карлик. — Будь так добр, пошли одного из своих товарищей к смотрителю дворца и спроси, нельзя ли мне пойти в сад поискать трав.

Караульный сделал так, и позволение было дано; ведь в саду были высокие стены и о бегстве из него нельзя было и думать. Когда же Нос с Мими вышли на свободу, он бережно спустил ее на землю, и она быстро пошла впереди его к озеру, где

стояли каштаны. Он следовал за ней с трепещущим сердцем, потому что это была ведь его последняя, единственная надежда. Если она не найдет травки, он твердо решил скорее броситься в озеро, чем дать себя обезглавить. Но гусыня искала напрасно: она ходила под всеми каштанами, переворачивала клювом каждую травку — ничего не показывалось. От жалости и страха Нос заплакал, потому что вечер становился уже темным и узнавать окружающие предметы было труднее.

Тогда взоры карлика упали за озеро, и вдруг он воскликнул:

— Смотри, смотри, там за озером стоит еще одно большое старое дерево! Пойдем туда и поищем, может быть, там цветет мое счастье!

Гусыня вспорхнула и полетела вперед, а карлик так быстро побежал за ней, как только могли его маленькие ноги. Каштановое дерево бросало большую тень, кругом было темно и почти ничего уже нельзя было узнать, но вдруг гусыня остановилась, захлопала от радости крыльями, потом быстро залезла головой в высокую траву, что-то сорвала, что-то грациозно подала клювом изумленному Носу и сказала:

— Это та самая травка, и здесь ее растет множество, так что у тебя никогда не может быть недостатка в ней.

Карлик задумчиво стал рассматривать траву.

От нее полился на него приятный аромат, который невольно напомнил ему сцену его превращения. Стебель и листья были синевато-зелеными, и на них был ярко-красный цветок с желтой каемкой.

— Хвала Богу! — воскликнул он наконец. — Какое чудо! Знаешь, мне кажется, эта та самая трава, которая из белки превратила меня в этот мерзкий вид. Не попробовать ли мне?

— Нет еще, — попросила гусыня. — Возьми с собой горсть этой травы, пойдем в твою комнату и захватим поскорее твои деньги и прочее, что у тебя есть, а потом испытаем силу травы.

Они так и сделали и пошли назад в его комнату. От ожидания сердце карлика сильно забилося. Завязав в узел пятьдесят или шестьдесят накопленных червонцев вместе с несколькими платьями и башмаками, он засунул свой нос глубоко в траву и, сказав: «Если будет угодно Богу, я избавлюсь от этого бремени», потянул в себя ее аромат.

Тогда все его члены стали вытягиваться и затрещали. Он чувствовал, как его голова поднималась из плеч. Он скосил глаза вниз, на свой нос, и увидел, что нос становится все меньше и меньше. Его спина и грудь стали выравниваться, а ноги сделались длиннее.

Гусыня с изумлением смотрела на все это.

— Ба! Какой ты большой, какой ты

красивый! — воскликнула она. — Слава Богу, у тебя уже ничего нет от всего того, чем ты был прежде!

Якоб очень обрадовался, сложил руки и стал молиться. Но радость не заставила его забыть, какой благодарностью он обязан гусыне Мими. Хотя сердце влекло его к родителям, однако из благодарности он подавил это желание и сказал:

— Кого другого мне благодарить за свое избавление, как не тебя? Без тебя я никогда не нашел бы этой травы, так что должен был бы вечно оставаться в том виде или, может быть, даже умереть под топором палача! Хорошо. Я вознагражу тебя за это. Я отвезу тебя к твоему отцу. Он, такой опытный во всяком волшебстве, легко сможет расколдовать тебя.

Гусыня залилась радостными слезами и приняла его предложение. Якоб счастливо и никем не узнанным вышел с гусыней из дворца и отправился в путь к морскому берегу, к родине Мими.

Что мне рассказывать дальше? Что они счастливо совершили свое путешествие; что Веттербок расколдовал свою дочь и отпустил Якоба, осыпав его подарками; что Якоб вернулся в свой родной город, и его родители с радостью узнали в красивом молодом человеке своего пропавшего сына; что на подарки, принесенные от

Веттербока, Якоб купил себе прекрасную лавку и стал богат и счастлив?

Еще я скажу только то, что после удаления Якоба из дворца герцога поднялась большая суматоха, потому что его нигде не могли найти, когда на другой день герцог захотел исполнить свою клятву и велел отрубить карлику голову, если он не нашел трав. Государь же утверждал, что герцог тайно дал ему убежать, чтобы не лишиться своего лучшего повара, и обвинял герцога в вероломстве. А из-за этого между обоими государями возникла большая война, которая хорошо известна в истории под именем «войны из-за травки». Было дано много сражений, но наконец все-таки был заключен мир, и этот мир у нас называют «миром паштетов», потому что на торжестве примирения повар государя приготовил царя паштетов, Сюзерен, который герцог ел с большим аппетитом.

Так малейшие причины часто приводят к неожиданным великим последствиям, и вот, господин, история карлика Носа.

Так рассказывал раб из Франкистана. Когда он кончил, шейх Али Бану велел подать ему и другим рабам фруктов, чтобы освежиться. Пока они ели, он беседовал со своими друзьями. А молодые люди, которых ввел старик, стали расхваливать шейха, его дом и его все распоряжения.

— Право, — сказал молодой писатель, — нет приятнее времяпрепровождения, как слушать рассказы. Я мог бы по целым дням сидеть так, поджав ноги, опершись рукой на подушку, положив лоб на руку и, если на то пошло, с большим кальяном шейха в руке, и слушать рассказы — приблизительно так я представляю себе жизнь в садах Мухаммеда.

— Пока вы молоды и можете работать, — сказал старик, — такое ленивое желание у вас не может быть серьезным. Но я согласен с вами, что есть особая прелесть слушать рассказы о чем-нибудь. Как ни стар я, а мне теперь идет семьдесят седьмой год, сколько уж ни слушал я за свою жизнь, и все-таки не упускаю случая, когда на углу сидит рассказчик повестей и около него большой круг слушателей, тоже подсесть и послушать. Ведь рассказываемые происшествия видишь, как во сне, живешь с этими людьми, с этими чудесными духами, с феями и подобными им существами, которые нам не всегда встречаются, и после, когда бываешь один, имеешь материал, чтобы все повторить себе, как путник, который едет по пустыне с хорошим запасом.

— Я никогда так не размышлял о том, в чем, собственно, заключается прелесть таких рассказов, — сказал другой из молодых людей. — Но со мной бывает то же, что с вами. Еще в детстве

меня могли рассказом заставить замолчать, если я капризничал. Сначала для меня было безразлично, о чем шла речь, только бы рассказывали, только бы что-нибудь происходило. Сколько раз я не уставая слушал те басни, которые выдумали мудрые люди и в которые они вложили зерно своей мудрости: о лисице и глупом вороне, о лисице и волке, много дюжин рассказов о льве и других животных. Когда я сделался старше и стал больше вращаться среди людей, эти короткие рассказы меня уже не удовлетворяли; они должны были быть уже длиннее, должны были говорить о людях и их удивительных приключениях.

— Да, я еще хорошо помню это время, — прервал его один из его друзей. — Это ты внушил нам влечение ко всякого рода рассказам. Один из ваших рабов знал столько рассказов, сколько говорит погонщик верблюдов из Мекки в Медину. Окончив свою работу, он должен был садиться к нам на лужайку перед домом, и там мы упрашивали его, до тех пор пока он не начинал рассказывать, и это продолжалось дальше и дальше, пока не наступала ночь.

— И не раскрывалось ли нам, — сказал писатель, — не раскрывалось ли нам тогда новое, неизвестное царство, страна духов и фей, со всеми чудесами растительного мира, с богатыми дворцами из смарагдов и рубинов, населенная

исполинскими рабами, которые являются, когда повернешь кольцо, потрешь чудесную лампу или произнесешь слово Сулеймана, и приносят в золотых чашах роскошные кушанья? Мы невольно чувствовали себя перенесенными в эту страну, мы совершали с Синдбадом его чудесные путешествия, гуляли по вечерам с Гаруном аль-Рашидом, мудрым повелителем правоверных, знали его визиря Джафара так хорошо, как самих себя, — словом, мы жили в тех рассказах, как ночью живешь во сне, и для нас не было времени дня прекраснее того вечера, когда мы собирались на лужайке и старый раб рассказывал нам. Скажи нам, старик, в чем же, собственно, причина, что в то время мы так охотно слушали рассказы, что и теперь для нас нет более приятного развлечения?

Начавшееся в комнате движение и призыв к вниманию, произнесенный надсмотрщиком рабов, помешали старику отвечать. Молодые люди не знали, радоваться ли им, что они могут слушать новый рассказ, или быть недовольными, что прерван их занимательный разговор со стариком. Но уже поднялся второй раб и начал...

Человек-обезьяна

Господин! Я по происхождению немец и прожил в ваших странах слишком мало, чтобы мог

рассказать персидскую сказку или забавную повесть о султанах и визирях. Поэтому вам уж придется позволить мне рассказать что-нибудь о моем отечестве, что, может быть, тоже немного позабавит вас. К сожалению, наши повести не всегда так важны, как ваши, то есть они говорят не о султанах и государях, не о визирях и пашах, которые у нас называются министрами юстиции и финансов, тайными советниками и тому подобное, а обыкновенно очень скромны и относятся к гражданам, если не говорят о солдатах.

В южной части Германии лежит городок Грюнвизель, где я родился и воспитывался. Это такой же городок как все. Посредине небольшой рынок с фонтаном, сбоку маленькая старая ратуша, вокруг рынка дома мирового судьи и именнейших купцов, а в нескольких узких улицах живут остальные горожане. Все знают друг друга, каждый знает, что где происходит, и если главный священник, бургомистр или врач имеют на столе одним блюдом больше, то уже в обед это знает весь город. После обеда дамы ходят друг к другу с визитом, как это называется, за крепким кофе и сладким пирогом беседуют об этом великом событии и заключают, что главный священник, вероятно, участвовал в лотерее и не по-христиански много выиграл, что бургомистра можно «подмазать», или что доктор получил от аптекаря

несколько червонцев, чтобы прописывать очень дорогие рецепты.

Вы можете себе представить, господин, как неприятно было такому благоустроенному городу, как Грюнвизель, когда туда приехал человек, о котором никто не знал, откуда он прибыл, чего он хотел, чем он жил. Хотя бургомистр видел его паспорт, бумагу, которую у нас должен иметь каждый...

— Разве на улицах так опасно, — прервал раба шейх, — что вам нужно иметь фирман⁵ своего султана, чтобы внушать разбойникам уважение?

— Нет, господин! — отвечал раб. — Эти бумаги не удержат ни одного вора, а это только ради порядка, чтобы везде знать, кто перед тобой.

Итак, бургомистр осмотрел паспорт и за кофе у доктора сказал, что хотя паспорт совершенно правильно визирован от Берлина до Грюнвизеля, но все-таки тут что-то есть, потому что этот человек имеет немного подозрительный вид. Бургомистр пользовался в городе величайшим уважением, и нет ничего удивительного, что с этих пор на иностранца стали смотреть как на подозрительное лицо. Да и его образ жизни не мог отклонить моих соотечественников от этого мнения. Иностранец

⁵ Фирман — грамота или письменный приказ.

нанял себе за несколько червонцев целый дом, стоявший до тех пор пустым, и привез целый воз странной утвари: печи, горн, большие тигли и тому подобное. С тех пор он стал жить только для одного себя. Мало того, он даже сам готовил себе обед, и в его дом не входила ни одна человеческая душа, кроме одного старика из Грюнвизеля, который должен был покупать ему хлеб, мясо и овощи. Но и он мог входить только в сени дома, а там уж иностранец принимал купленное.

Когда этот человек приехал в мой родной город, я был десятилетним мальчиком. Еще теперь я могу представить себе возбужденное им в городке беспокойство, как будто это произошло вчера. После обеда он не приходил, как другие, на кегельбан, а вечером не приходил в гостиницу, чтобы, как прочие, поговорить за трубкой табака о новостях. Напрасно бургомистр, мировой судья, доктор и главный священник поочередно приглашали его к обеду или кофе — он всегда извинялся и отказывался. Поэтому одни считали его за сумасшедшего, другие — за еврея, а третья партия упорно утверждала, что он колдун или чародей. Мне минуло восемнадцать, двадцать лет, и все еще этого человека называли в нашем городе иностранцем.

Но однажды случилось, что в город пришли какие-то люди с невиданными животными. Это был

неизвестно откуда пришедший сброд, имеющий верблюда, который умел кланяться, медведя, который танцевал, и нескольких собак и обезьян, которые в человеческих платьях имели довольно комичный вид и выделывали разные штуки. Обыкновенно эти люди проходят по городу, останавливаются на перекрестках и площадях, поднимают на маленьком барабане и флейте неблагозвучную музыку, заставляют свою труппу танцевать и прыгать, а потом собирают по домам деньги. Но труппа, явившаяся в Грюнвизель на этот раз, отличалась огромным орангутангом, который величиною был почти с человека, ходил на двух ногах и умел проделывать разные искусные штуки. Эта комедия собак и обезьян пришла и к дому иностранца.

Когда зазвучал барабан и флейта, он сначала с очень сердитым видом показался за темными, тусклыми от старости окнами. Но скоро он сделался ласковее, выглянул ко всеобщему удивлению в окно и искренне смеялся штукам орангутанга. Мало того, за эту забаву он дал такую крупную, серебряную монету, что об этом говорил весь город. На другое утро труппа отправилась дальше. Верблюд должен был нести много корзин, в которых очень удобно сидели собаки и обезьяны, а погонщики животных и большая обезьяна шли за верблюдом. Но лишь только прошло несколько

часов как они вышли из ворот, иностранец послал на почту, потребовал, к великому удивлению почтмейстера, карету и экстренных лошадей и выехал в те же ворота и по той же дороге, по которой направились животные. Весь городок досадовал, что нельзя было узнать, куда он поехал. Была уже ночь, когда иностранец опять в карете подъехал к воротам. Но в карете сидел еще один человек, у которого шляпа была глубоко надвинута на лицо, а вокруг рта и ушей повязан шелковый платок. Заставный писарь счел своей обязанностью обратиться к другу иностранца и попросить его паспорт, но тот отвечал очень грубо, что-то проворчав на совершенно непонятном языке.

— Это мой племянник, — ласково сказал иностранец заставному писарю, сунув ему в руку несколько серебряных монет. — Это мой племянник, и до сих пор он еще мало знает по-немецки. Он только что немного выругался на своем наречии, что нас здесь задерживают.

— Э, если это ваш племянник, — отвечал заставный писарь, — то он может, пожалуй, въехать без паспорта. Он ведь, без сомнения, будет жить у вас?

— Конечно, — сказал иностранец, — и пробудет здесь, вероятно, довольно долго.

Заставный писарь больше не возражал, и иностранец со своим племянником въехали в

городок. Впрочем, бургомистр и весь город были не очень довольны заставным писарем. Ведь ему следовало бы запомнить по крайней мере несколько слов из языка племянника. Из этого потом легко можно было бы узнать, что за уроженцы он и его дядя. А заставный писарь уверял, что это не было ни по-французски, ни по-итальянски, но, кажется, звучало так коротко, как по-английски. Если он не ошибается, то молодой господин сказал: «Goddam!» Так заставный писарь вышел из затруднения и дал имя молодому человеку. Ведь теперь в городке все только и говорили о молодом англичанине.

Но и молодой англичанин не показывался ни на кегельбане, ни в пивной, — он иначе занимал жителей. Часто случалось, что в доме иностранца, столь тихом прежде, раздавался ужасный крик и шум, так что народ толпой останавливался перед домом и смотрел в него. Тогда видно было, как молодой англичанин, одетый в красный фрак и зеленые брюки, с включенными волосами и ужасным видом, невероятно быстро бегал у окон взад и вперед по всем комнатам, а старый иностранец, в красном халате, с арапником в руке, бегал за ним. Иногда толпе на улице казалось, что он, должно быть, догнал юношу, потому что слышались жалобные крики страха и много щелкающих ударов кнутом. Дамы городка приняли такое живое участие в этом жестоком обращении с

иностранным молодым человеком, что заставили наконец бургомистра вступиться в это дело. Он написал иностранцу записку, в которой в довольно резких выражениях упрекал его в суровом обращении со своим племянником и грозил ему взять молодого человека под свою особую защиту, если такие сцены будут происходить и дальше.

Но как был изумлен бургомистр, увидевший, что к нему входит сам иностранец, первый раз в течение десяти лет! Старый господин стал оправдывать свой образ действия особым поручением родителей юноши, которые отдали ему своего сына на воспитание. Племянник вообще умный, способный юноша, говорил он, но ему очень трудно изучать язык; он так страстно желает научить своего племянника вполне свободно говорить по-немецки, чтобы потом осмелиться ввести его в грюнвизельское общество, а между тем язык дается ему так трудно, что часто нельзя сделать ничего лучше, как хорошенько отстегать его. Бургомистр счел себя вполне удовлетворенным этим объяснением, посоветовал старику умеренность и вечером в пивной рассказывал, что редко встречал такого образованного, благовоспитанного человека, как этот иностранец.

— Жаль только, — добавил он, — что он так мало появляется в обществе. Но я думаю, что когда его племянник будет хоть немного говорить

по-немецки, он будет чаще посещать мои собрания.

Благодаря только одному этому случаю мнение городка совершенно переменилось. Иностранца стали считать благовоспитанным человеком, страстно желали познакомиться с ним поближе и находили вполне в порядке вещей, если иногда в пустом доме раздавался ужасный крик.

— Он дает племяннику уроки немецкого языка, — говорили грюнвизельцы и уже не останавливались.

Спустя приблизительно три месяца обучение немецкому языку, по-видимому, закончилось, потому что старик пошел теперь вперед, ступенью дальше. В городе жил один старый, дряхлый француз, дававший молодым людям уроки танцев. Иностранец пригласил его к себе и сказал ему, что желает обучать своего племянника танцам. Он дал французу понять, что хотя племянник очень способен, но, что касается танцев, немного упрям. Дело в том, что раньше он учился танцевать у другого учителя и притом по таким странным турам, что теперь ему нелегко появиться в обществе. Но именно поэтому племянник считает себя великим танцором, хотя его танцы не имеют ни малейшего сходства с вальсом или галопом (это, господин, танцы, которые танцуют в моем отечестве), даже не имеют сходства с экосезом или франсезом. Впрочем, иностранец обещал по талеру

за урок, и танцмейстер с удовольствием согласился взять на себя обучение упрямого воспитанника.

Как француз уверял по секрету, на свете не было ничего столь странного, как эти уроки танцев. Племянник, довольно высокий, стройный молодой человек, у которого только ноги были, пожалуй, очень коротки, являлся в красном фраке, хорошо причесанным, в широких зеленых брюках и лайковых перчатках. Он говорил мало и с иностранным акцентом, сначала был довольно послушен и ловок, но потом часто вдруг пускался в безобразные прыжки и танцевал отчаяннейшие туры, причем делал антраша, так что ошеломлял танцмейстера. Если последний хотел показывать ему, то племянник снимал с ног красивые танцевальные башмаки, бросал их французу в голову и скакал по комнате на четвереньках. При этом шуме внезапно выбегал из своей комнаты старый господин в широком красном халате, с колпаком из золотой бумаги на голове, и довольно сильно бил племянника по спине арапником. Тогда племянник начинал страшно выть, вскакивал на столы и высокие комоды, даже на переплеты оконных рам, и говорил на неизвестном, странном языке. Но старик в красном халате не смущался, хватал его за ногу, стаскивал, колотил и посредством пряжки ту же затягивал ему галстук, после чего племянник всегда делался опять

послушным и вежливым, а урок танцев беспрепятственно шел дальше.

Когда же танцмейстер довел своего воспитанника до того, что к уроку можно было брать музыку, тогда племянник как бы преобразился. Наняли городского музыканта, который должен был садиться на стол в зале пустого дома. Танцмейстер изображал тогда даму, для чего старый господин давал ему надевать шелковую юбку и остиндскую шаль. Племянник приглашал его и начинал с ним танцевать и вальсировать, но он был неутомимым, бешеным танцором и не выпускал учителя из своих длинных рук, хотя тот стонал и кричал. Он должен был танцевать, пока не падал в изнеможении или пока у городского музыканта на скрипке не отнималась рука. Эти часы преподавания чуть не сводили танцмейстера в могилу, но талер, который он каждый раз аккуратно получал, и хорошее вино, которым угощал его старик, всегда заставляли его опять приходить, хотя за день до этого он твердо решал не ходить больше в этот дом.

Но жители Грюнвизеля смотрели на это совсем не так, как француз. Они находили, что у молодого человека много данных для успеха в обществе, и при большом недостатке в кавалерах дамы были рады иметь к следующей зиме такого ловкого танцора.

Однажды утром вернувшиеся с рынка служанки рассказали своим господам удивительное событие. Перед домом иностранцев стояла великолепная стеклянная карета, запряженная прекрасными лошадьми, и слуга в богатой ливрее держал дверцы. Дверь пустого дома отворилась, и вышли два прекрасно одетых господина, одним из которых был старый иностранец, а другим, вероятно, тот молодой господин, который с таким трудом учился по-немецки и так бешено танцует. Оба сели в карету, слуга вскочил сзади на запятки, и карета — представьте себе! — поехала прямо к дому бургомистра.

Услыхав от своих служанок такой рассказ, дамы поспешно сорвали кухонные фартуки и не совсем чистые чепчики и переоделись в парадные костюмы. «Нет ничего вернее, — говорили они своим семьям, между тем как все суетились, чтобы убрать гостиную, которая в то же время служила для другого употребления, — нет ничего вернее того, что теперь иностранец вывозит своего племянника в свет. Старый дурак в течение десяти лет был так неблаговоспитан, что не вступал в наш дом, но это можно простить ему ради его племянника, который, говорят, очаровательный человек». Так говорили они и наставляли своих сыновей и дочерей быть очень вежливыми, когда приедут иностранцы, держаться прямо, а также

употреблять лучшее произношение, нежели обыкновенно. И умные дамы городка давали советы не напрасно, потому что старый господин объезжал со своим племянником всех по порядку, чтобы отрекомендовать себя и племянника благосклонности семейств.

Везде были совершенно очарованы обоими иностранцами и сожалели, что уже раньше не завели этого приятного знакомства. Старый господин оказался почтенным, очень разумным человеком. Хотя при всем, что он ни говорил, он немного улыбался, так что было неизвестно, серьезно ли это или нет, но он так умно и обдуманно говорил о погоде, о местности, о летних удовольствиях в ресторане на горе, что очаровал этим всех. А племянник! Он пленил всех, он покориł себе все сердца. Хотя, что касается его наружности, его лицо нельзя было назвать красивым: нижняя часть, особенно челюсть, слишком выдавалась вперед, цвет лица был очень смугл, и притом иногда он делал разные странные гримасы, жмурил глаза и скалил зубы. Но все-таки черты его лица находили необыкновенно интересными. Ничего не могло быть подвижнее и проворнее его фигуры. Хотя платье немного странно висело на его теле, но все шло к нему отлично. Он с большой живостью ходил по комнате, бросался здесь на диван, там на кресло и

вытягивал ноги, но что у другого молодого человека нашли бы в высшей степени грубым и неприличным, то у племянника считалось гениальностью. «Он англичанин, — говорили грюнвизельцы, — таковы все они! Англичанин может лечь на мягкий диван и заснуть, между тем как у десяти дам нет места и они должны стоять. Англичанину подобное никак нельзя поставить в вину». Старому господину, своему дядюшке, племянник был очень послушен, потому что когда он начинал прыгать по комнате или, как любил делать, закидывать ноги на кресло, то достаточно было серьезного взгляда, чтобы привести его к порядку. Да и как можно было ставить ему в вину нечто подобное, когда даже дядя в каждом доме говорил хозяйке:

— Мой племянник еще немного груб и необразован, но я многого ожидаю от общества, которое как следует отшлифует и образует его, и я особенно поручаю его именно вам.

Итак, племянник был вывезен в свет, и весь Грюнвизель в этот и следующие дни ни о чем другом не говорил, кроме этого события. Но старый господин не остановился на этом. По-видимому, он совершенно переменял свой образ мыслей и образ жизни. После обеда он уходил с племянником в ресторан на скалистой горе, где более знатные лица Грюнвизеля пили пиво и развлекались игрой в

кегли. Там племянник показал себя в игре искусным мастером, потому что никогда не сшибал меньше пяти или шести. Правда, иногда, по-видимому, на него находило особенное настроение; ему могло прийти в голову быстро, как стрела, выбежать с шаром, вбежать под кегли и поднять там бешеный шум; или, сбив восемь кеглей или короля, он вдруг становился на свои прекрасно завитые волосы и вытягивал вверх ноги; или если мимо проезжала карета, то не успеешь оглянуться, как он сидел на самом верху кареты, делал оттуда гримасы, немного проезжал на ней и потом опять прибежал к обществу.

При подобных сценах старый господин обыкновенно очень извинялся перед бургомистром и другими лицами за невоспитанность своего племянника, а они смеялись, приписывали это его молодости, утверждали, что в этом возрасте сами были такими же подвижными, и необыкновенно любили молодого ветрогона, как они его называли.

Но бывали также времена, когда они немало сердились на племянника, и все-таки ничего не смели сказать, потому что молодого англичанина все считали образцом по воспитанию и уму. Старый господин обыкновенно именно со своим племянником приходил также по вечерам в «Золотой Олень», гостиницу городка. Хотя племянник был еще совсем молодым человеком,

однако вел себя уже совсем как старик. Он садился за свой стакан, надевал огромные очки, вынимал громадную трубку, закуривал ее и дымил сильнее всех. Если начинали говорить о новостях, о войне и мире, если доктор высказывал свое мнение, бургомистр свое, а другие лица были совершенно изумлены такими глубокими политическими познаниями, то племяннику вдруг могло прийти в голову быть совершенно другого мнения. Тогда он ударял по столу рукой, с которой никогда не снимал перчаток, и совершенно ясно давал понять бургомистру и доктору, что обо всем этом они ничего точно не знают, что он слышал это совершенно иначе и имеет более глубокий взгляд. Затем на странном ломаном немецком языке он высказывал свое мнение, которое все, к великой досаде бургомистра, находили превосходным — ведь, как англичанин, он, конечно, все должен был знать лучше.

Если затем бургомистр и доктор в гневе, который они не смели громко выражать, садились за партию в шахматы, то племянник придвигался, заглядывал в свои большие очки через плечи к бургомистру, порицал тот или другой ход и говорил доктору, что он должен ходить так-то и так-то, на что они оба втайне очень сердились. Если потом бургомистр в досаде предлагал ему партию, чтобы как следует поставить ему мат, так как считал себя

вторым Филидором^б, то старый господин туже стягивал племяннику галстук, после чего тот становился вполне учтивым и вежливым и сам быстро ставил бургомистру мат.

До сих пор в Грюнвизеле почти каждый вечер играли в карты по полкрейцера за партию. Племянник находил это мизерным, ставил кронталеры и червонцы, утверждал, что никто не играет так тонко, как он, но обыкновенно опять примирял с собою оскорбленных лиц, проигрывая им огромные суммы. Им было даже совсем не совестно получать с него очень много денег, потому что «ведь он англичанин, следовательно, из богатого дома». Так говорили они и совали червонцы в карман.

Таким образом, племянник иностранца в короткое время приобрел необыкновенное уважение в городе и окрестностях. С незапамятных времен нельзя было вспомнить, чтобы в Грюнвизеле видели такого молодого человека, и это было самым странным явлением, какое когда-либо замечали. Нельзя было сказать, что племянник чему-нибудь учился, кроме, пожалуй, танцев. Латинский и греческий языки были для него китайской грамотой, как обыкновенно говорится.

^б Филидор — выдающийся французский шахматист.

Во время одной игры в обществе, в доме бургомистра, он должен был что-то написать, и оказалось, что он не мог написать даже свое имя; в географии он делал самые поразительные ошибки, так что ему ничего не стоило перенести немецкий город во Францию или датский — в Польшу; он ничего не читал, ничему не учился, и главный священник часто сомнительно качал головой по поводу грубого невежества молодого человека. Но несмотря на это, все, что племянник делал или говорил, находили превосходным. Ведь он был так нахален, что всегда хотел быть правым, и концом каждой его речи было: «Я знаю это лучше!»

Так подошла зима, и только теперь племянник выступил с еще большей славой. Всякое общество, где его не было, находили скучным и зевали, когда умный человек говорил что-нибудь; но когда племянник на плохом немецком языке начинал рассказывать даже глупейшую вещь, все превращалось в слух. Теперь оказалось, что превосходный молодой человек был и поэтом, так как почти не проходило вечера, чтобы он не вынул из кармана каких-то бумаг и не прочел обществу несколько сонетов. Правда, находились некоторые люди, утверждавшие относительно одной части этих стихотворений, что они плохи и без чувства, а другую часть они, кажется, уже читали где-то в печати. Но племянник не смущался, читал и читал,

потом обращал внимание на красоты своих стихов, и каждый раз следовало шумное одобрение.

Но его триумфом были грюнвизельские балы. Никто не мог танцевать дольше и быстрее его, никто не делал таких смелых и необыкновенно грациозных прыжков, как он. К тому же дядя всегда великолепно одевал его по новейшему вкусу, и хотя платье сидело на его теле как-то нехорошо, но все-таки находили, что он одет очень мило. Правда, во время этих танцев мужчины считали себя немного оскорбленными новыми приемами, с которыми он выступил. Прежде всегда бал открывал бургомистр собственной персоной, а знатнейшие молодые люди имели право распоряжаться остальными танцами, но с тех пор как появился иностранный молодой человек, все это было совсем иначе. Не спрашивая много он брал за руку первую попавшуюся даму, становился с ней впереди, делал все, что ему нравилось, и был господином, хозяином и царем бала. А так как дамы находили эти манеры превосходными и приятными, то мужчины ничего не могли возразить против этого, и племянник по-прежнему оставался при своем самозванном достоинстве.

Старому господину такой бал доставлял, по-видимому, величайшее удовольствие. Он не спускал с племянника глаз и все время улыбался про себя, а когда около него собиралось все

общество, чтобы наградить его похвалами за приличного, благовоспитанного юношу, он от радости совершенно не мог опомниться, потом заливался веселым смехом и казался глупым. Грюнвизельцы приписывали эти странные проявления радости его большой любви к племяннику и находили это вполне в порядке вещей. Но иногда дядя должен был применять к племяннику и свое отеческое влияние, потому что среди грациознейших танцев молодому человеку могло прийти в голову смелым прыжком вскочить на эстраду, где сидели городские музыканты, вырвать из рук музыканта контрабас и ужасно запилить на нем. Иногда же он сразу переменял позицию и начинал танцевать на руках, вытянув ноги вверх. Тогда дядя обыкновенно отводил его в сторону, делал ему там строгие выговоры и туже стягивал ему галстук, так что племянник опять становился вполне вежливым.

Так вел себя племянник в обществе и на балах. Но как это обыкновенно бывает с нравами, дурные распространяются всегда легче хороших, и новая, бросающаяся в глаза мода, хотя бы она была крайне смешной, имеет в себе что-то заразительное для молодых людей, еще не размышлявших о самих себе и об обществе. Так было и в Грюнвизеле с племянником и его странными манерами. Когда молодые люди увидели, что неуклюжего

племянника, с его грубым смехом и болтовней и с его дерзкими ответами старшим, скорее уважают, чем порицают, так что все это находят даже очень остроумным, то стали думать про себя: «Мне легко сделаться таким же остроумным повесой». Прежде они были прилежными, способными молодыми людьми. Теперь они думали: «К чему образование, если с невежеством лучше имеешь успех?» Они оставили книги и стали везде шляться по улицам и площадям. Прежде они со всеми были учтивы и вежливы, ждали, пока их спросят, и отвечали прилично и скромно. Теперь они стояли в рядах мужчин, болтали, высказывали свое мнение, смеялись в лицо даже бургомистру, если он что-нибудь говорил, и утверждали, что они все знают гораздо лучше.

Прежде молодые грюнвизельцы питали отвращение ко всему грубому и пошлому. Теперь они стали петь разные дурные песни, курить из огромных трубок табак и шляться по простым кабакам. Они тоже купили себе большие очки, хотя видели вполне хорошо, надели их на нос и стали думать, что теперь они люди с положением — ведь у них такой же вид, как у знаменитого племянника! Дома или в гостях они ложились в сапогах со шпорами на мягкий диван, в хорошем обществе качались на стуле или подпирали щеки обоими кулаками, а локти клали на стол, что теперь имело

очень привлекательный вид. Напрасно их матери и друзья говорили им, как все это глупо, как неприлично — они ссылались на блестящий пример племянника. Напрасно им доказывали, что племяннику, как молодому англичанину, простительна некоторая национальная грубость. Молодые грюнвизельцы утверждали, что они точно так же, как самый лучший англичанин, имеют право быть остроумно невоспитанными. Словом, жалко было видеть, как в Грюнвизеле благодаря дурному примеру племянника совершенно погибали нравы и хорошие обычаи.

Но радость молодых людей по поводу их грубой, распущенной жизни продолжалась недолго, потому что следующий случай сразу переменял все явление. Зимние удовольствия должны были закончиться большим концертом, который хотели исполнить частью городские музыканты, частью искусные любители музыки в Грюнвизеле. Бургомистр играл на виолончели, доктор превосходно играл на фаготе, аптекарь, хотя у него не было настоящего дарования, играл на флейте, а несколько барышень из Грюнвизеля разучили арии, и все было отлично приготовлено. Тогда старый иностранец заявил, что хотя таким образом концерт будет превосходным, но, очевидно, не хватает дуэта, а во всяком порядочном концерте необходимо должен быть дуэт. Этим заявлением

были немного смущены; правда, дочь бургомистра пела как соловей, но где взять кавалера, который мог бы спеть с нею дуэт? Наконец вспомнили было о старом органисте, который когда-то пел превосходным басом, но иностранец стал уверять, что все это не нужно, так как его племянник отлично поет. Этому новому превосходному таланту молодого человека немало изумились. Он должен был спеть что-нибудь на пробу, и за исключением некоторых странных манер, которые сочли английскими, он пел как ангел. Итак, поспешно разучили дуэт, и наконец наступил вечер, когда концерт должен был усладить слух грюнвизельцев.

К сожалению, старый иностранец не смог присутствовать при триумфе своего племянника, потому что был болен, но бургомистру, посетившему его еще за час до концерта, он дал несколько наставлений относительно своего племянника.

— Мой племянник — добрая душа, — сказал он, — но иногда у него являются разные странные мысли и тогда он начинает дурить; поэтому-то мне и жаль, что я не могу быть на концерте, так как при мне он очень осторожен, он уж знает почему! Впрочем, к его чести я должен сказать, что это не нравственная распущенность, а физическая. Это зависит от всей его натуры. Господин бургомистр,

когда у него явятся, может быть, такие мысли, что он вскочит на пюпитр или вовсе вздумает заиграть на контрабасе или тому подобное, если вы тогда только немного ослабите ему высокий галстук, или, если и тогда ему не станет лучше, совсем снимите его, то увидите, каким он тогда станет послушным и вежливым.

Бургомистр поблагодарил больного за доверие и пообещал сделать в случае нужды так, как он посоветовал ему.

Концертный зал был битком набит, так как явились весь Грюнвизель и все окрестности. Чтобы разделить с грюнвизельцами редкое наслаждение, из округи на расстоянии трех часов пути собрались с многочисленными семействами все охотники, священники, управляющие, сельские хозяева и тому подобное. Городские музыканты отличились; за ними выступил бургомистр, сыгравший на виолончели под аккомпанемент аптекаря, игравшего на флейте; после него органист, при всеобщем одобрении, пропел басовую арию, да и доктору немало похлопали, когда он сыграл на фаготе.

Первое отделение концерта кончилось, и все с нетерпением ждали второго, когда молодой иностранец должен был петь с дочерью бургомистра дуэт. Племянник явился в великолепном костюме и уже давно обращал на

себя внимание всех присутствовавших. Недолго рассуждая он лег на великолепное кресло, поставленное для одной графини, жившей по соседству; он вытянул ноги, смотрел на всех в огромный бинокль, который был у него кроме больших очков и играл с большой меделянской собакой, приведенной им в собрание, несмотря на запрещение брать собак. Графиня, для которой было приготовлено кресло, явилась, но племянник и не подумал встать и уступить ей место; наоборот — он уселся еще удобнее, и никто не посмел сказать что-нибудь об этом молодому человеку, а знатная дама должна была сидеть на совершенно простом соломенном стуле, среди остальных городских дам, и, говорят, немало сердилась.

Во время чудной игры бургомистра, во время превосходной басовой арии органиста, даже когда доктор фантазировал на фаготе и все затаили дыхание и слушали, племянник заставлял собаку приносить носовой платок или очень громко болтал с соседями, так что все, кто не знал его, удивлялись странным манерам молодого человека.

Поэтому не удивительно, что всем было очень любопытно, как он споеет свой дуэт. Началось второе отделение. Городские музыканты что-то немного сыграли, и вот бургомистр подошел с дочерью к молодому человеку, подал ему лист с нотами и сказал:

— Месье! Не угодно ли вам теперь петь дуэт?

Молодой человек засмеялся, оскалил зубы и вскочил. Бургомистр с дочерью последовали за ним к пюпитру, а все общество было исполнено ожидания. Органист стал отбивать такт и дал племяннику знак начинать. Племянник посмотрел в свои большие стекла очков на ноты и стал издавать ужасные, жалобные звуки. Органист закричал ему:

— Двумя тонами ниже, почтеннейший! Вы должны петь до!

Но вместо того чтобы петь до, племянник снял один из своих изящных башмаков и бросил его в голову органиста, так что пудра разлетелась во все стороны. Увидев это, бургомистр подумал: «А, теперь у него опять телесные припадки», подскочил, схватил племянника за шею и послабее завязал ему галстук, но от этого молодому человеку стало только хуже. Он говорил уже не по-немецки, а на каком-то очень странном языке, которого никто не понимал, и делал большие прыжки. Бургомистр был в отчаянии от этого неприятного перерыва, поэтому он решил совсем развязать галстук у молодого человека, с которым произошло, должно быть, что-то совершенно особенное. Но едва он сделал это, как остановился, остолбенев от ужаса. Вместо кожи человеческого цвета, шею молодого человека покрывала темно-бурая шерсть, и он тотчас же стал прыгать

еще выше и страннее, схватился лайковыми перчатками за волосы, сдернул их и — о диво! Эти прекрасные волосы были париком, который он бросил бургомистру в лицо, а голова оказалась обросшей той же бурой шерстью.

Он скакал по столам и скамейкам, опрокидывал пюпитры, топтал скрипки и кларнет и казался бешеным.

— Ловите его, ловите его! — закричал бургомистр совершенно вне себя. — Он с ума сошел, ловите его!

Но это было трудно, потому что племянник сдернул перчатки и показал на руках когти, которыми вцеплялся людям в лица и жестоко царапал их. Наконец одному смелому охотнику удалось схватить его. Он сжал ему длинные руки, так что он бился только ногами и хриплым голосом хохотал и кричал. Кругом собралась публика и стала рассматривать странного молодого господина, который теперь уже совсем не был похож на человека. А один ученый господин, живший по соседству и имевший большой кабинет редкостей природы и чучела разных животных, подошел ближе, тщательно осмотрел его и потом с удивлением воскликнул:

— Боже мой! Почтенные господа и дамы, как только вы допускаете это животное в порядочное общество? Ведь это обезьяна, *Nomo Troglodytes*

Linnaei⁷! Я сейчас же дам за нее шесть талеров, если вы уступите ее мне, и сделаю из нее чучело для своего кабинета.

Кто опишет изумление грюнвизельцев, когда они услышали это! «Что! Обезьяна, орангутанг в нашем обществе? Молодой иностранец — обыкновенная обезьяна?» — восклицали они и, совершенно одурев от удивления, смотрели друг на друга. Они не хотели верить, не доверяли своим ушам, и мужчины стали осматривать животное тщательнее, но оно было и оставалось самой обыкновенной обезьяной.

— Но как это возможно! — воскликнула жена бургомистра. — Разве он часто не читал мне своих стихов? Разве он не обедал у меня, как и всякий другой человек?

— Что? — горячилась жена доктора. — Как? Разве он часто и много не пил у меня кофе, не вел с моим мужем ученого разговора и не курил?

— Как! Возможно ли это! — воскликнули мужчины. — Разве он не играл с нами в кегли в ресторане на скале и не спорил о политике, как всякий из нас?

— И как? — жаловались все они. — Разве он даже не танцевал в первой паре на наших балах?

⁷ Человекообразная обезьяна Линнея.

Обезьяна! Обезьяна! Это чудо, это колдовство!

— Да, это колдовство и дьявольская штука, — сказал бургомистр, принося галстук племянника, или обезьяны. — Смотрите, в этом платке заключалось всё колдовство, делавшее его в наших глазах достойным любви. Вот широкая полоса эластичного пергамента, исписанная разными странными знаками. Мне даже кажется, что это по-латыни. Никто не может прочесть это?

Главный священник, человек ученый, часто проигрывавший племяннику партию в шахматы, подошел, посмотрел на пергамент и сказал:

— Вовсе нет! Это только латинские буквы, это значит следующее:

И обезьяна ведь
забавною бывает,
Когда она от яблока
вкушает!

Да, да, это адский обман, вроде колдовства, — продолжал он, — и это нужно примерно наказать!

Бургомистр был того же мнения и тотчас отправился к иностранцу, который, должно быть, был колдуном, а шесть городских солдат несли обезьяну, потому что иностранец должен был тотчас же подвергнуться допросу.

Окруженные громадной толпой народа, так

как всем хотелось увидеть, как дело пойдет дальше, они подошли к пустому дому. Стали стучать в дом, звонить, но напрасно, никто не показывался. Тогда взбешенный бургомистр велел выломать дверь и потом пошел в комнаты иностранца. Но там ничего не было видно, кроме разной старой домашней утвари. Иностранца не могли найти. Но на его рабочем столе лежало большое запечатанное письмо, адресованное бургомистру, которое он тотчас и вскрыл. Он прочел:

«Любезные грюнвизельцы!

Когда вы читаете это, меня уже нет в вашем городке, и теперь вы, вероятно, давно узнали, какого происхождения и откуда мой милый племянник. Примите шутку, которую я позволил себе с вами, как хороший урок не приглашать насильно в свое общество иностранца, желающего жить по-своему. Сам я ставил себя слишком высоко, чтобы разделять ваши вечные сплетни, ваши дурные нравы и ваш смешной образ жизни. Поэтому я воспитал молодого орангутанга, которого вы так полюбили, как моего заместителя. Прощайте и по мере сил воспользуйтесь этим уроком».

Грюнвизельцы немало стыдились перед всей страной. Их утешением было то, что все это произошло неестественно. Но больше всего стыдились молодые люди в Грюнвизеле, потому что они подражали дурным привычкам и манерам обезьяны. С этих пор они уж не облакачивались, не качались вместе со стулом, молчали, пока их не спросят, сняли очки и были вежливы и учтивы, как прежде; а если кто когда-нибудь опять усваивал такие дурные и смешные манеры, то грюнвизельцы говорили: «Это обезьяна». А обезьяна, которая так долго играла роль молодого господина, была отдана ученому, имевшему кабинет редкостей природы. Он пускает ее ходить по двору, кормит и, как редкость, показывает ее всякому иностранцу; там ее можно видеть еще и теперь.

Когда раб окончил, в зале поднялся смех, и молодые люди тоже засмеялись.

— Однако среди этих франков есть, должно быть, странные люди! Право, мне приятнее быть у шейха и муфтия в Александрии, чем в обществе главного священника, бургомистра и их глупых жен в Грюнвизеле! — заметил один из них.

— Ты, конечно, сказал верно, — отвечал молодой купец. — Мне не хотелось бы умереть в Франкистане. Франки грубый, дикий, варварский народ, и для образованного турка или перса,

должно быть, ужасно жить там.

— Вы скоро услышите это, — пообещал старик. — Как мне говорил надсмотрщик рабов, о Франкистане много расскажет тот красивый молодой человек, потому что он долго пробыл, там, хотя по своему происхождению он мусульманин.

— Как? Тот, который в ряду сидит последним? Право, грех, что шейх отпускает его! Это самый красивый раб во всей стране. Взгляните только на это мужественное лицо, на этот смелый взгляд и красивую фигуру. Ведь шейх может дать ему легкие занятия. Он может назначить его отгонять мух или приносить трубку. Исполнять такую обязанность — пустяки, а право, такой раб — украшение всего дома. Он у него только три дня, и шейх отпускает его? Это глупость, это грех!

— Не порицайте же того, кто мудрее всего Египта! — сказал старик с ударением. — Разве я вам уже не говорил, что шейх отпускает его, думая заслужить этим благословение Аллаха! Вы говорите, что он красив и хорошо сложен, и говорите правду! Но сын шейха — да возвратит его скорее Пророк в отцовский дом! — сын шейха был красивым мальчиком и теперь должен быть тоже большим и хорошо сложенным. Так шейх должен беречь золото и отпускать дешевого, уродливого раба, в надежде получить за него своего сына? Если кто на свете хочет что-либо сделать — тот лучше

совсем не делай или делай хорошенько!

— Но посмотрите, взоры шейха все время устремлены на этого раба. Я замечал это уже весь вечер. Во время рассказов его взор часто устремлялся туда и останавливался на благородных чертах отпускаемого на волю раба. Все-таки ему, должно быть, немного жаль отпускать его!

— Не думай так об этом человеке! Ты думаешь, что тысячи туманов жаль тому, кто каждый день получает втрое больше? — сказал старик. — А если его взор с грустью останавливается на этом юноше, то он, вероятно, думает о своем сыне, который томится на чужбине. Он, вероятно, думает, нет ли там, может быть, сострадательного человека, который выкупил бы его и отослал к отцу.

— Вы, пожалуй, правы, — отвечал молодой купец, — и мне стыдно, что я думаю о людях всегда только дурное и неблагородное, тогда как вы скорее допускаете хорошее мнение. А все-таки люди обыкновенно бывают дурны! Разве вы тоже не нашли этого, старик?

— Именно потому, что я не нашел этого, я охотно думаю о людях хорошее, — отвечал старик. — Со мной было то же, что с вами. Я жил так изо дня в день, слышал о людях много нехорошего, должен был сам на себе испытать много дурного и стал считать всех людей злыми

созданиями. Но вот мне пришло в голову, что Аллах, который столь же справедлив, как и мудр, не мог бы допустить, чтобы на этой прекрасной земле жил такой отверженный род. Я стал размышлять о том, что видел, что пережил, и что же — я замечал только зло и забывал добро. Я не обращал внимания, когда кто-нибудь совершал милосердный поступок, я находил естественным, если целые семьи жили добродетельно и были праведны. Но всякий раз, когда я слышал злое, дурное, я хорошо сохранял это в своей памяти. Тогда я стал смотреть вокруг себя совсем другими глазами. Я радовался видя, что добро встречается не так редко, как я думал сначала, я замечал зло меньше или оно не так бросалось мне в глаза, и таким образом я научился любить людей, научился думать о них хорошее, и в течение долгих лет ошибался реже, когда о ком-нибудь говорил хорошее, чем тогда, когда считал его скаредным, подлым или безбожным.

При этих словах старика прервал надсмотрщик рабов, который подошел к нему и сказал:

— Господин, александрийский шейх Али Бану с удовольствием заметил вас в своей зале и приглашает вас подойти к нему и сесть около него.

Молодые люди были немало изумлены честью, предстоявшей старику, которого они сочли за нищего. Когда он пошел, чтобы сесть к шейху,

они остановили надсмотрщика рабов, и писатель спросил его:

— Заклинаю тебя бородой Пророка, скажи нам, кто этот старик, с которым мы говорили и которого шейх так уважает.

— Как! — воскликнул надсмотрщик рабов и от удивления всплеснул руками. — Вы не знаете этого человека?

— Нет, мы не знаем, кто он.

— Но я уже несколько раз видел, как вы разговаривали с ним на улице, и мой господин, шейх, тоже заметил это и только на днях говорил: «Это, должно быть, славные молодые люди, которых этот человек достаивает разговора».

— Ну так скажи же нам, кто это! — воскликнул молодой купец в сильном нетерпении.

— Ступайте, вы хотите только одурачить меня, — отвечал надсмотрщик рабов. — В эту залу обыкновенно никто не входит, кто не приглашен особо, а сегодня старик велел сказать шейху, что приведет с собой в его залу нескольких молодых людей, если это удобно шейху, и Али Бану велел сказать ему, что он может распоряжаться его домом!

— Не оставляй нас дольше в неведении. Клянусь жизнью, я не знаю, кто этот человек! Мы случайно познакомились с ним и стали разговаривать.

— Ну, тогда вы должны считать себя счастливыми! Ведь вы говорили с ученым, знаменитым человеком, и поэтому все присутствующие оказывают вам уважение и удивляются. Это не кто иной, как ученый дервиш Мустафа!

— Мустафа! Мудрый Мустафа, который воспитал сына шейха, который написал много ученых книг и совершил большие путешествия во все части света? Мы говорили с Мустафой? И говорили так, как будто он один из нас, даже совсем без всякого почтения!

Молодые люди продолжали разговор о сказках и о старике дервише Мустафе. Они чувствовали себя немало польщенными, что такой старый и знаменитый человек удостоил их своим вниманием и даже часто говорил и спорил с ними. Вдруг к ним подошел надсмотрщик рабов и пригласил их последовать за ним к шейху, который желает говорить с ними. У юношей забилося сердце. Они никогда еще не говорили с таким знатным человеком, даже и наедине, еще меньше в таком большом обществе. Однако они собрались с духом, чтобы не показаться глупцами, и последовали за надсмотрщиком рабов к шейху. Али Бану сидел на богатой подушке и пил шербет. Направо от него сидел старик. Его убогая одежда лежала на великолепных подушках, а свои жалкие

сандалии он поставил на богатый ковер персидской работы, но его прекрасная голова, его взор, исполненный достоинства и мудрости, показывали, что он достоин сидеть около такого человека, как шейх.

Шейх был очень угрюм, и старик, по-видимому, утешал и ободрял его. Юношам показалось даже, что в их приглашении к шейху заметна хитрость старика, который хотел, вероятно, развлечь печального отца разговором с ними.

— Милости просим, молодые люди, — сказал шейх. — Пожалуйста в дом Али Бану. Вот мой старый друг заслужил мою благодарность, приведя вас сюда. Но я немного сердит на него за то, что он не познакомил меня с вами раньше. Кто же из вас молодой писатель?

— Я, господин, и я к вашим услугам! — сказал молодой писатель, скрестив на груди руки и низко поклонившись.

— Так это вы очень любите слушать повести и читать книги с прекрасными стихами и изречениями?

Молодой человек испугался и покраснел, потому что ему пришло в голову, как он тогда при старике порицал шейха и говорил, что на его месте велел бы рассказывать себе или читать вслух из книг. В эту минуту он очень рассердился на болтливую старика, который, наверно, все передал

шейху, бросил на него злой взгляд и затем сказал:

— Господин! Правда, что касается меня, я не знаю более приятного занятия, как проводить день таким образом. Это образует ум и занимает время. Но каждый на свой образец, и поэтому я, конечно, никого не порицаю, кто не...

— Хорошо, хорошо! — смеясь прервал его шейх и кивнул подойти второму юноше. — Кто же ты? — спросил он его.

— Господин, по своему занятию я помощник врача и уже сам вылечил нескольких больных.

— Так, — проговорил шейх, — и вы также тот, который любит веселую жизнь! Вам иногда очень хотелось бы пообедать с добрыми друзьями и повеселиться! Не правда ли, я угадал это?

Молодой человек был сконфужен. Он почувствовал, что его выдали и что, должно быть, старик рассказал шейху и про него. Однако он собрался с духом и отвечал:

— О да, господин, возможность повеселиться иногда с добрыми друзьями я причисляю к блаженствам жизни. Хотя теперь моего кошелька хватает не больше, как на угощение друзей арбузами или подобными же дешевыми вещами, но мы рады и этому, и можно думать, что нам было бы еще значительно веселее, если бы у меня было больше денег.

Шейху понравился этот смелый ответ, и он не

смог удержаться от смеха над ним.

— Который же молодой купец? — спросил он дальше.

Молодой купец непринужденно поклонился шейху, потому что был человеком хорошего воспитания.

Шейх же сказал:

— А вы? У вас любовь к музыке и танцам? Вы любите слушать, когда хорошие артисты играют и поют что-нибудь, и любите смотреть, как танцоры исполняют искусные танцы?

Молодой купец отвечал:

— Я хорошо вижу, господин, что тот старец, чтобы позабавить вас, передал все наши глупости. Если этим ему удалось развеселить вас, то мне было приятно служить для вашей забавы. Что же касается музыки и танцев, то я признаюсь, что нет почти ничего, что так услаждало бы мое сердце. Но не думайте, что поэтому я порицаю вас, господин, если вы не точно так же...

— Довольно, не надо дальше! — воскликнул шейх, с улыбкой отмахиваясь рукой. — Вы хотите сказать, что каждый на свой образец. Но там стоит ведь еще один; это, вероятно, тот, который так хотел бы путешествовать. Кто же вы, молодой человек?

— Я живописец, господин, — отвечал молодой человек. — Я пишу виды природы отчасти

на стенах зал, отчасти на полотне. Видеть чужие края составляет, конечно, мое желание. Ведь там видишь разные красивые местности, которые можно нарисовать, а что видишь и срисовываешь, то обыкновенно ведь всегда лучше того, что только сам выдумываешь.

В эту минуту шейх посмотрел на прекрасных молодых людей, и его взор сделался угрюм и мрачен.

— Когда-то у меня был тоже милый сын, — сказал он, — и теперь он должен бы быть таким же взрослым, как вы. Тогда вы были бы его товарищами и спутниками, и каждое из ваших желаний удовлетворилось бы само собой. С тем он читал бы, с этим слушал бы музыку, с другим приглашал бы добрых друзей, радовался бы и веселился, а с живописцем я отпускал бы его уезжать в красивые местности и тогда был бы уверен, что он всегда опять вернется ко мне. Но Аллах не захотел так, и я без ропота покоряюсь его воле. Однако в моей власти исполнить, несмотря на это, ваши желания, и вы должны идти от Али Бану с радостным сердцем.

Вы, мой ученый друг, — продолжал он, обращаясь к писателю, — живите с этих пор в моем доме и заведуйте моими книгами. Вы можете еще приобретать к ним, что пожелаете и найдете хорошим, и пусть вашей единственной

обязанностью будет рассказывать мне, если вы прочтете что-нибудь действительно прекрасное.

Вы любите хороший обед среди друзей — вы будете распорядителем моих увеселений. Хотя сам я живу одиноко и без радостей, но я обязан приглашать иногда много гостей, так как этого требует мое положение. Тогда вы вместо меня будете все устраивать и можете приглашать из своих друзей, кого только пожелаете; приглашать, разумеется, на что-нибудь лучшее арбузов.

Того молодого купца я, конечно, не могу отвлекать от его дела, которое приносит ему деньги и честь. Но каждый вечер к вашим услугам, мой молодой друг, танцоры, певцы и музыканты сколько вы пожелаете. Играйте и танцуйте сколько душе угодно.

А вы, — сказал он живописцу, — вы увидите чужие края и опытом разовьете свой глаз. Для первого путешествия, которое вы можете предпринять завтра, мой казначей вручит вам тысячу золотых вместе с двумя лошадьми и рабом. Отправляйтесь, куда вас влечет сердце, и если увидите что-нибудь прекрасное, то нарисуйте для меня.

Молодые люди были вне себя от изумления и онемели от переполнявшей их радости и благодарности. Они хотели было целовать пол у ног доброго человека, но он не допустил этого.

— Если кого вы должны благодарить, — сказал он, — так вот этого мудрого человека, который рассказал мне о вас. Этим он и мне доставил удовольствие познакомиться с четырьмя такими веселыми молодыми людьми из вашей братии.

Но дервиш Мустафа тоже отклонил благодарность юношей.

— Видите, — сказал он, — как никогда не следует судить очень поспешно! Разве я слишком много сказал вам об этом благородном человеке?

— Теперь давайте слушать рассказ еще последнего из моих рабов, которые сегодня будут свободны, — прервал его Али Бану, и юноши отправились на свои прежние места.

Тогда встал тот молодой раб, который своим ростом, красотой и смелым взглядом так сильно привлек к себе внимание всех, поклонился шейху и благозвучным голосом начал говорить так...

Рассказ Альмансора

Господин! Люди, говорившие до меня, рассказывали разные чудесные повести, которые они слышали в чужих краях. Я со стыдом должен сознаться, что не знаю ни одного рассказа, достойного вашего внимания. Но если вам не будет скучно, я расскажу вам удивительные приключения

одного моего друга.

На том алжирском капере, с которого меня освободила ваша милостивая рука, был молодой человек моих лет, рожденный, казалось мне, не для одежды раба, которую он носил. Остальные несчастные на корабле были или грубыми людьми, с которыми я не мог жить, или людьми, языка которых я не понимал. Поэтому в то время, когда у нас был свободный часок, я охотно сходил с этим молодым человеком. Он называл себя Альмансором и по своему произношению был египтянином. Мы очень приятно беседовали друг с другом, и однажды нам даже вздумалось рассказать свои приключения, причем история моего друга была во всяком случае гораздо замечательнее моей.

Отец Альмансора был знатным человеком в одном египетском городе, имени его он мне не назвал. Альмансор провел дни своего детства радостно, весело и окруженный всем земным блеском и удобствами. Но при этом, однако, его не воспитывали изнеженным, и его ум стал рано развиваться, потому что его отец был мудрым человеком, дававшим ему наставления в добродетели. Кроме того, учителем у него был знаменитый ученый, преподававший ему все, что должен знать молодой человек. Альмансору было около десяти лет, когда из-за моря в страну пришли франки и стали вести войну с его народом.

Но, должно быть, отец мальчика был не очень расположен к франкам, потому что однажды, когда он собирался идти на утреннюю молитву, они пришли и потребовали сперва его жену, как заложницу его верности франкскому народу, а когда он не захотел отдать ее, они насильно утащили в лагерь его сына.

Когда молодой раб стал рассказывать так, шейх закрыл лицо, а в зале поднялся ропот негодования.

— Как, — воскликнули друзья шейха, — как может этот молодой человек поступать так глупо и растравлять такими рассказами раны Али Бану, вместо того чтобы облегчить их! Как может он возобновлять его скорбь, вместо того чтобы рассеять ее!

Сам надсмотрщик рабов рассердился на бессовестного юношу и велел ему замолчать. А молодой раб был очень изумлен всем этим и спросил шейха — разве в его рассказе есть что-нибудь такое, что возбуждало бы его неудовольствие?

При этих словах шейх поднялся и сказал:

— Успокойтесь же, друзья! Как может этот юноша знать что-нибудь о моей печальной судьбе, когда он под этой кровлей едва только три дня! Разве при тех ужасах, которые совершали эти франки, не может быть участи, подобной моей,

разве не может, пожалуй, даже тот Альмансор... но рассказывай все-таки дальше, мой молодой друг!

Молодой раб поклонился и продолжал:

— Итак, молодого Альмансора увели во франкский лагерь. Там ему жилось вообще хорошо, потому что один из полководцев призывал его в свою палатку и забавлялся ответами мальчика, которые ему должен был переводить драгоман. Полководец заботился о нем, чтобы он не нуждался в пище и одежде, но все-таки тоска по отцу и матери делала мальчика в высшей степени несчастным. Он в продолжение многих дней плакал, но его слезы не трогали этих людей. Вскоре лагерь был снят, и Альмансор думал, что теперь он сможет опять вернуться, но было не так. Войско ходило туда и сюда, вело войну с мамелюками, и они все время таскали за собой молодого Альмансора. Когда он потом стал умолять начальников и полководцев позволить ему все-таки опять вернуться домой, они отказали в этом и говорили, что он должен быть залогом верности своего отца. Так он в продолжение многих дней был в походе.

Но вдруг в войске началось движение, которое не укрылось от мальчика. Стали говорить об укладывании вещей, об отступлении, о посадке на корабли, и Альмансор был вне себя от радости, потому что теперь, когда франки возвращались в

свою страну, теперь ведь его должны были освободить. Они потянулись с лошадьми и повозками назад к морскому берегу и наконец были так далеко, что стали видны стоящие на якоре суда. Солдаты стали садиться на корабли, но наступила ночь, пока села только небольшая часть. Как охотно Альмансор ни бодрствовал бы, так как каждый час думал, что будет отпущен на свободу, но наконец все-таки впал в глубокий сон. Ему показалось, что франки примешали ему чего-нибудь в воду, чтобы усыпить его, потому что когда он проснулся, в маленькую комнату, в которой он не был, когда засыпал, светило солнце. Он вскочил с постели, но, ступив на пол, упал, так как пол качался туда и сюда и все, казалось, двигалось и танцевало вокруг него. Он опять вскочил и стал держаться за стены, чтобы выйти из комнаты, в которой он находился.

Вокруг него был странный шум и шипение. Он не знал, видит ли он сон или не спит, потому что никогда ничего подобного не слышал и не видал. Наконец он достиг маленькой лестницы и с трудом поднялся наверх. Какой ужас объял его! Вокруг ничего не было, кроме неба и моря! Он находился на корабле. Тогда он жалобно заплакал. Он хотел вернуться назад, хотел броситься в море и доплыть до своей родины, но франки удержали его, а один из начальников позвал его к себе, обещал ему, что скоро он попадет опять на родину, если будет

послушен, и доказывал, что уже невозможно везти его от берега домой, а там ему пришлось бы жалким образом погибнуть, если бы его отпустили.

Но франки не сдержали своего слова, потому что в продолжение многих дней корабль шел дальше. Когда наконец он пристал к берегу, они были не на берегу Египта, а во Франкистане. Во время длинного пути и уже в лагере Альмансор научился понимать кое-что из языка франков и говорить, что ему очень пригодилось в этой стране, где никто не знал его языка. В продолжение многих дней его везли по стране во внутреннюю часть, и везде стекался народ, чтобы посмотреть его, так как его спутники заявляли, что это сын египетского царя, который посылает его во Франкистан для образования.

Но эти солдаты говорили так только для того, чтобы уверить народ, что они победили Египет и находятся с этой страной в глубоком мире. После нескольких дней путешествия сухим путем они прибыли в большой город, цель своего путешествия. Там Альмансора отдали одному врачу, который принял его в свой дом и стал обучать всем нравам и обычаям Франкистана.

Прежде всего Альмансор должен был надеть франкское платье, очень узкое и тесное и далеко не такое красивое, как его египетское. Потом он уже не мог кланяться, скрестив руки, а если

кому-нибудь хотел выразить свое почтение, то одной рукой должен был срывать с головы огромную шапку из черного войлока, которую носили все мужчины и которую надели и ему, а другой рукой должен был делать движение в сторону и шаркать правой ногой. Он уже не мог также сидеть с поджатыми ногами по принятому обычаю на Востоке, а должен был садиться на высокие стулья и опускать ноги на пол. Еда доставляла ему тоже значительные затруднения, потому что все, что он хотел поднести ко рту, он должен был воткнуть прежде на железную вилку.

А доктор был строгим, злым человеком и мучил мальчика. Если последний иногда забывался и говорил гостям «селям-алейкум», доктор бил его палкой, потому что он должен был говорить: «*Votre servi teur!*»⁸ Альмансор уже не мог также думать и говорить или писать на своем языке, разве только мог мечтать на нем. Он, может быть, совсем разучился бы своему языку, если бы в том городе не жил один человек, который ему был очень полезен.

Это был старый, но очень ученый человек, знавший много восточных языков: арабский, персидский, коптский, даже китайский, понемногу

⁸ Ваш покорный слуга! (фр.)

из каждого. Его в той стране считали чудом учености и давали ему много денег, чтобы он учил этим языкам других. Этот человек несколько раз в неделю призывал к себе молодого Альмансора, угощал его редкими плодами и тому подобным, и тогда юноше казалось, что он находится дома. Действительно, этот старый господин был очень странным человеком. Он сделал Альмансору одежду, какую в Египте носят знатные люди. Эту одежду он хранил в своем доме, в особой комнате. Когда Альмансор приходил, он посылал его со слугой в эту комнату и приказывал одевать его вполне по обычаю его страны. Оттуда они шли в Малую Аравию — так называлась одна зала в доме ученого.

Эта зала была украшена разными искусственно выращенными деревьями: пальмами, бамбуками, молодыми кедрами, а также цветами, растущими только на Востоке. На полу лежали персидские ковры, а у стен были подушки, но нигде не было ни франкского стула, ни стола. На одной из этих подушек сидел старый профессор, но он имел совсем другой вид, нежели обыкновенно. Вокруг головы он обвивал, как тюрбан, тонкую турецкую шаль и подвязывал седую бороду, которая у него доходила до пояса и казалась естественной, почтенной бородой важного человека. К тому же на нем была мантия, сделанная им из парчового

халата, широкие турецкие шаровары и желтые туфли. Такой мирный прежде, он в эти дни надевал турецкую саблю, а за поясом у него торчал кинжал, оправленный поддельными камнями. При этом он курил из трубки длиной в два локтя, и ему прислуживали его люди, одетые тоже по-персидски, а половина их красила лица и руки в черный цвет.

Сначала, по-видимому, все это казалось молодому Альмансору очень удивительным, но скоро он понял, что такие часы, когда он подчинялся мыслям старика, очень полезны. Если у доктора он не мог сказать ни одного египетского слова, то здесь франкский язык был строго воспрещен. При входе Альмансор должен был говорить приветствие мира, на которое старый перс отвечал очень торжественно. Потом он делал юноше знак сесть около него, начинал говорить попеременно на персидском, арабском, коптском и других языках и называл это ученой восточной беседой. Около него стоял слуга, или, что он представлял в этот день, раб, державший большую книгу, а эта книга была словарем. Когда старик забывал слова, то делал рабу знак, быстро отыскивал, что хотел сказать, а потом снова продолжал говорить.

А рабы приносили в турецкой посуде шербет и прочее, и если Альмансор хотел доставить

старику большое удовольствие, то должен был сказать, что у него все устроено так, как на Востоке. Альмансор очень хорошо читал по-персидски, и это было для старика главной выгодой. У него было много персидских рукописей. Он велел юноше читать их ему вслух, внимательно перечитывал и таким образом подмечал правильное произношение.

Для бедного Альмансора это были радостные дни, потому что старый профессор никогда не отпускал его без подарка, и часто он приносил даже дорогие подарки деньгами, полотном или другими необходимыми вещами из тех, которые ему не хотел давать доктор. Так Альмансор прожил несколько лет в столице франкской страны, но его тоска по родине никогда не уменьшалась. Когда же ему было около пятнадцати лет, произошел случай, имевший большое влияние на его судьбу.

Франки выбрали королем и повелителем своего первого полководца, того самого, с которым в Египте Альмансор так часто говорил. Хотя это было известно Альмансору и он по большим празднествам на улицах узнал, что нечто подобное происходит в этом большом городе, однако не мог представить себе, чтобы королем был тот самый, которого он видел в Египте, потому что тот полководец был еще очень молодым человеком.

Но однажды Альмансор шел по одному из тех

мостов, которые ведут через широкую реку, протекающую по городу. Там он заметил человека в простом солдатском платье, прислонившегося к перилам моста и смотревшего на волны. Черты этого человека бросились ему в глаза, и он вспомнил, что уже видел его. Поэтому он быстро порылся в своих воспоминаниях, и когда вспомнил о событиях в Египте, ему вдруг стало ясно, что этот человек — тот полководец франков, с которым он в лагере часто говорил и который всегда милостиво заботился о нем. Альмансор точно не знал его настоящего имени, поэтому он собрался с духом, подошел к нему, назвал его так, как его называли между собой солдаты, и сказал, скрестив по обычаю своей страны руки на груди:

— Селям-алейкум, Маленький Капрал⁹!

Этот человек изумленно оглянулся, посмотрел на юношу пронизательными глазами, подумал о нем и потом сказал:

— Боже, возможно ли это! Ты здесь, Альмансор? Что делает твой отец? Как дела в Египте? Что привело тебя сюда к нам?

Тогда Альмансор не смог дольше удерживаться. Он горько заплакал и сказал ему:

⁹ Маленький Капрал — прозвище Наполеона I во французской армии.

— Так ты, стало быть, не знаешь, Маленький Капрал, что сделали со мной эти собаки, твои соотечественники? Ты не знаешь, что я уже много лет не видал страны своих отцов?

— Надеюсь, — сказал тот, и его лоб нахмурился, — надеюсь, что они не утащили тебя с собой?

— Ах, конечно! — отвечал Альмансор. — В тот день, когда ваши солдаты садились на корабли, я видел свое отечество в последний раз. Они взяли меня с собой, и начальник, которого тронуло мое горе, платит за мое содержание одному проклятому доктору, который меня бьет и чуть не морит голодом. Но послушай, Маленький Капрал, — продолжал он совершенно чистосердечно, — хорошо, что я тебя встретил здесь, ты должен помочь мне.

Человек, которому он говорил это, улыбнулся и спросил, каким же образом он должен помочь.

— Вот как, — сказал Альмансор. — Было бы несправедливо, если бы я захотел чего-нибудь от тебя. Ты всегда был так добр ко мне, но я знаю, что ты тоже бедный человек. Даже когда ты был полководцем, ты никогда не одевался так хорошо, как другие; да и теперь судя по твоему сюртуку и шляпе ты, должно быть, не в лучшем положении. Но ведь франки недавно выбрали султана, и ты, без сомнения, знаешь людей, которые могут

приближаться к нему, например, агу его янычар, или рейс-эфенди, или его капудан-пашу. Знаешь?

— Ну да, — отвечал тот, — но что дальше?

— Ты мог бы у них замолвить за меня словечко, Маленький Капрал, чтобы они попросили султана франков освободить меня. Потом, мне нужно также немного денег для переезда по морю, но прежде всего ты должен обещать мне ничего не говорить об этом ни доктору, ни арабскому профессору.

— Кто же этот арабский профессор? — спросил тот.

— Ах, это странный человек, но о нем я расскажу тебе в другой раз. Если бы оба они услышали это, то я уже не мог бы уехать из Франкистана. Но поговоришь ли ты за меня с агой? Скажи мне это откровенно!

— Пойдем со мной, — сказал Маленький Капрал. — Может быть, я теперь же смогу быть полезным тебе.

— Теперь? — испуганно воскликнул юноша. — Теперь ни за что, ведь доктор прибьет меня! Мне надо спешить прийти домой!

— Что же ты несешь в этой корзине? — спросил Маленький Капрал, удерживая его.

Альмансор покраснел и сначала не хотел показывать, но наконец сказал:

— Посмотри, Маленький Капрал, я здесь

должен служить, как самый последний раб моего любимого отца. Доктор — скупой человек и каждый день посылает меня на рыбный и овощной рынок, куда от нашего дома час ходьбы. Я должен покупать у грязных торговков, потому что там на несколько медных монет дешевле, чем в нашей части города. Посмотри, из-за этой дрянной селедки, из-за этой горсти салата, из-за этого кусочка масла я каждый день должен ходить два часа. Ах, если бы это знал мой отец!

Человек, которому Альмансор говорил это, был тронут горем мальчика и отвечал:

— Пойдем только со мной и не бойся. Доктор тебе ничего не сможет сделать, если даже не поест сегодня ни селедки, ни салата. Успокойся и пойдем!

При этих словах он взял Альмансора за руку и повел его с собой. Хотя при мысли о докторе у Альмансора билось сердце, но в словах и выражении лица этого человека было столько уверенности, что он решил последовать за ним. Итак, с корзиной в руке, он пошел вместе с этим солдатом по многим улицам и ему, по-видимому, казалось странным, что перед ними все снимали шляпы, останавливались и смотрели им вслед. Он выразил это удивление своему спутнику, но тот засмеялся и ничего не сказал на это.

Наконец они пришли к великолепному замку, к которому Маленький Капрал и подошел.

— Ты здесь живешь, Маленький Капрал? — спросил Альмансор.

— Моя квартира здесь, — отвечал тот, — и я хочу отвести тебя к моей жене.

— Э, ты живешь прекрасно! — продолжал Альмансор. — Наверно, сам султан дал тебе здесь готовую квартиру?

— Ты прав, эта квартира у меня от императора, — отвечал его спутник и повел его в замок.

Там они поднялись по широкой лестнице, и в одной красивой зале он велел Альмансору поставить корзину, а потом вошел с ним в великолепную комнату, где на диване сидела женщина. Он поговорил с ней на незнакомом языке, после чего оба они немало смеялись, а потом женщина на франкском языке много спрашивала Альмансора о Египте.

Наконец Маленький Капрал сказал юноше:

— Знаешь, что самое лучшее? Я хочу сейчас сам отвести тебя прямо к императору и поговорить с ним о тебе.

Альмансор очень испугался, но вспомнил о своем горе и о своей родине.

— Несчастному, — сказал он им обоим, — несчастному Аллах в минуту бедствия дарует большое мужество. Он не оставит и меня, бедного мальчика. Я сделаю это, я пойду к императору. Но

скажи, Капрал, я должен упасть перед ним ниц, должен лбом коснуться пола, что я должен сделать?

Оба снова засмеялись и стали уверять, что ничего этого не нужно.

— У него страшный и величественный вид, у султана? — спрашивал он дальше. — У него длинная борода? Сверкающие глаза? Скажи, какой у него вид!

Его спутник снова засмеялся и потом сказал:

— Я тебе лучше совсем не стану описывать его, Альмансор. Ты сам догадаешься, кто он. Только вот что я скажу тебе, как приметку: в зале императора, если он там, все почтительно снимут шляпы. Кто оставит шляпу на голове — тот и есть император.

При этих словах он взял его за руку и пошел с ним в залу императора. Чем ближе Альмансор подходил, тем сильнее билось у него сердце, а когда они приблизились к двери, у него задрожали колени. Слуга открыл дверь, и там полукругом стояли по крайней мере тридцать человек, все великолепно одетые и увешанные золотом и звездами, как это в стране франков в обычае у знатнейших эмиров и королевских пашей. Альмансор подумал, что его спутник, так невзрачно одетый, среди них, должно быть, один из самых последних. Все они обнажили головы, и Альмансор стал отыскивать того, у кого на голове была бы

шляпа — ведь тот должен быть императором! Но его поиски были напрасны. Шляпы у всех были в руках и, следовательно, среди них, должно быть, не было императора. Тогда его взгляд случайно упал на его спутника, и что же — у него шляпа была на голове!

Юноша был изумлен и поражен. Он долго смотрел на своего спутника, а затем, сам снимая шляпу, сказал:

— Селям-алейкум, Маленький Капрал! Насколько я знаю, сам я не султан франков, поэтому мне не подобает покрывать голову, а на тебе шляпа. Маленький Капрал, ведь это ты император?

— Ты угадал эго, — отвечал тот, — и я твой друг. Припиши свое несчастье не мне, а злополучному стечению обстоятельств, и будь уверен, что с первым кораблем ты возвратишься в свое отечество. Теперь опять ступай к моей жене, расскажи ей об арабском профессоре и то, что знаешь. Сельди и салат я отошлю доктору, а ты на время своего пребывания здесь останешься гостем в моем дворце.

Так говорил человек, который был императором, а Альмансор упал перед ним ниц, целовал его руку и просил у него прощения в том, что не узнал его. Он, конечно, по виду его не ожидал, что он император.

— Ты прав! — смеясь отвечал тот. — Если кто императором только несколько дней, то это не написано у него на лбу!

Сказав так, он сделал Альмансору знак удалиться.

С этого дня Альмансор стал жить счастливо и весело. Арабского профессора, о котором он рассказал императору, он смог посетить еще несколько раз, но доктора уже не видал. Спустя несколько недель император велел позвать его к себе и объявил ему, что корабль, с которым он хочет отправить его в Египет, стоит на якоре. Альмансор был вне себя от радости. Достаточно было немного дней, чтобы снарядить его, и с сердцем, исполненным благодарности, щедро осыпанный сокровищами и подарками, он уехал от императора к морю и сел на корабль.

Но Аллаху было угодно еще дольше испытывать его, еще дольше закалять в несчастье его мужество, и Он еще не дал Альмансору увидеть берег своей родины. Другой франкский народ, англичане, вел тогда на море войну с императором. Они отнимали у него все корабли, которые могли победить, и таким образом случилось, что на шестой день пути корабль, на котором находился Альмансор, окружили и стали обстреливать английские корабли. Он должен был сдаться, и весь экипаж был переведен на меньший корабль,

который вместе с другими поплыл дальше. Но на море не менее опасно, чем в пустыне, где разбойники неожиданно нападают на караваны, убивают и грабят. Тунисский капер напал на маленький корабль, который буря отделила от больших кораблей. Он был захвачен, а весь экипаж привезен в Алжир и продан.

Хотя Альмансор попал не в такое тяжелое рабство, как христиане, потому что был правоверным мусульманином, но все-таки теперь опять исчезла всякая надежда снова увидеть родину и отца. Он прожил там пять лет у одного богатого человека и должен был поливать цветы и возделывать сад. Этот богатый человек умер без близких наследников, его владения раздробили, рабов разделили, и Альмансор попал в руки торговца рабами. Последний в это время снаряжал корабль, чтобы где-нибудь в другом месте продать своих рабов дороже. Случайно я сам был рабом этого торговца и попал на тот же самый корабль, где находился и Альмансор. Там мы познакомились, и там он рассказал мне свои удивительные приключения. Когда же мы вышли на берег, я был свидетелем чудеснейшего предопределения Аллаха: берег, на который мы вышли из лодки, был берегом его отечества; рынок, где нас выставили на продажу, был рынком его родного города, и, господин, — коротко говоря, его

купил его собственный, его дорогой отец!

От этого рассказа шейх Али Бану погрузился в глубокое раздумье. Рассказ невольню увлек его. Грудь шейха вздымалась, глаза сверкали, и он часто готов был перебить своего молодого раба. Но конец рассказа, по-видимому, не удовлетворил его.

— Ты говоришь, что теперь ему был бы двадцать один год? — начал он спрашивать.

— Господин, он моих лет, от двадцати одного до двадцати двух лет.

— А какой город он называл своим родным городом? Этого ты нам еще не сказал.

— Если я не ошибаюсь, — отвечал тот, — это была Александрия!

— Александрия! — воскликнул шейх. — Это мой сын! Где он, где он остался? Ты не говорил, что его звали Кайрамом? У него были темные глаза и каштановые волосы?

— Это так, в минуту искренности он называл себя Кайрамом, а не Альмансором.

— Но, Аллах! Аллах! скажи же мне: ты говоришь, что его отец купил его на твоих глазах? Он говорил, что это его отец? Так он все-таки не мой сын!

Раб отвечал:

— Он сказал мне: «Хвала Аллаху после такого долгого несчастья! Это рынок моего родного города!» А спустя несколько времени из-за угла

вышел какой-то знатный человек, и тогда он воскликнул: «О, какой дорогой дар неба — глаза! Я еще раз вижу своего почтенного отца!» А тот человек подошел к нам, посмотрел на одного, на другого и наконец купил того, с кем все это случилось. Тогда Альмансор воззвал к Аллаху, произнес горячую благодарственную молитву и прошептал мне: «Теперь я опять вступаю в чертоги своего счастья! Меня купил мой собственный отец!»

— Так это все-таки не мой сын, не мой Кайрам! — сказал шейх, удрученный горем.

Тогда юноша уже не мог удержаться. Из его глаз потекли радостные слезы, он бросился перед шейхом на колени и воскликнул:

— А все-таки это ваш сын, Кайрам Альмансор! Ведь вы купили его!

— Аллах, Аллах! Чудо, великое чудо! — воскликнули присутствовавшие и подо двинулись ближе, а шейх стоял безмолвно и изумленно смотрел на юношу, который поднял к нему свое прекрасное лицо.

— Друг Мустафа! — сказал он старому дервишу. — На моих глазах от слез висит завеса, так что я не могу видеть, запечатлены ли на его лице черты его матери, которые были у моего Кайрама. Подойди сюда и посмотри на него!

Старик подошел, долго смотрел на молодого

человека, потом положил руку на его лоб и сказал:

— Кайрам! Что гласит изречение, которым я в день несчастья напутствовал тебя в лагерь франков?

— Дорогой учитель! — отвечал юноша, привлекая руку старика к губам. — Оно гласит: «Кто любит Аллаха и имеет чистую совесть, тот и в пустыне горя не одинок; ведь у него два товарища, которые утешая идут рядом с ним».

Тогда старик с благодарностью возвел глаза к небу, привлек юношу на грудь, передал его шейху и сказал:

— Прими его! Как верно то, что ты десять лет скорбел о нем, так верно и то, что это твой сын Кайрам!

Шейх был вне себя от радости и восторга. Он все время снова всматривался в черты найденного сына и снова, несомненно, находил образ своего сына, каким потерял его. И все присутствовавшие разделяли его радость, ведь они любили шейха, и каждому из них казалось, что сегодня ему дарован сын.

Теперь опять пение и ликование наполнили эту залу, как в дни счастья и радости. Юноша должен был еще раз и еще подробнее рассказать свою историю, и все хвалили арабского профессора, императора и всякого, кто покровительствовал Кайраму. Все пробыли вместе до ночи, а когда стали расходиться, шейх щедро одарил каждого из

своих друзей, чтобы они всегда помнили этот радостный день.

А четырех молодых людей он представил своему сыну и пригласил их всегда посещать его. Было решено, что с писателем Кайрам будет читать, с живописцем — совершать небольшие поездки, что купец разделит с ним пение и танцы, а другой будет готовить для них все удовольствия. Они тоже были щедро одарены и весело вышли из дома шейха.

— Кому мы обязаны всем этим, — говорили они между собой, — кому другому, как не старику? Кто подумал бы это тогда, когда мы стояли перед этим домом и бранили шейха?

— И как легко нам могло бы прийти в голову не послушать наставлений старика, — сказал другой, — или вовсе осмеять его! Ведь он имел довольно оборванный и бедный вид, и кто мог подумать, что это мудрый Мустафа!

— Удивительно! Не здесь ли мы громко выражали свои желания? — сказал писатель. — Один хотел тогда путешествовать, другой — петь и танцевать, третий — быть в хорошем обществе, а я — читать и слушать рассказы, и разве не все наши желания исполнились? Разве я не могу читать все книги шейха и покупать что хочу?

— А разве я не могу готовить его обеды, устраивать его прекраснейшие удовольствия и сам

участвовать в них? — сказал другой.

— А я? Всякий раз, как мое сердце пожелает слушать пение и струнную музыку или смотреть танец, разве я не могу пойти и попросить себе его рабов?

— А я! — воскликнул живописец. — До этого дня я был беден и не мог шагу ступить из этого города, а теперь могу ехать куда хочу!

— Да, — сказали все они, — однако хорошо, что мы послушались старика. Кто знает, что из нас вышло бы?

Так говорили александрийские юноши и веселые и счастливые шли домой.

Еврей Абнер, который ничего не видал

Господин, я из Могадора, на берегу большого моря. Когда над Фесом и Марокко царствовал великодержавнейший император Мулей Измаил, произошло то событие, о котором ты слушаешь, может быть, не без удовольствия. Я расскажу о еврее Абнере, который ничего не видал.

Евреи, как ты знаешь, есть везде, и везде они евреи: лукавы, одарены для малейшей наживы соколиными глазами и хитры, тем хитрее, чем больше их угнетают. Они сознают свою хитрость и несколько гордятся ею. Но все-таки иногда еврей